

Илья Чумак

ПРАПОР



Избранное

КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
СТАВРОПОЛЬ · 1963

A
4—90

О ТВОРЧЕСТВЕ ИЛЬИ ЧУМАКА

Всей своей судьбой, жизненной дорогой, творчеством Илья Чумак связан с родным краем, с его людьми, миром его легенд и сказаний. Со страниц произведений писателя встает поистине поэтический образ любимого им Ставрополья — бескрайние степи, пропитанные запахом чабреца и горькой полыни, задумчивые степные курганы, негаснущие ночные чабанские костры...

Нелегкий путь прошел писатель, прежде чем сделал свои первые шаги в литературу. Трудовые детские колонии в Орле, Ростове-на-Дону, Краснодаре, колонии имени Горького и трудкоммуне Ф. Э. Дзержинского. Особенно большую роль в его жизни сыграл замечательный педагог Антон Семенович Макаренко. «Я всегда с необыкновенной теплотой вспоминаю этого умного и чуткого человека. Он помог мне выйти на широкую дорогу жизни, научил любить и понимать людей»,—вспоминает писатель.

В 1931 году ростовский журнал «На подъеме» напечатал первый рассказ И. Чумака «Пять метров».

Хорошей школой для молодого писателя оказалась работа в редакциях краевых газет «Молодой ленинец», «Орджоникидзевская правда», позже «Ставропольская правда». Работа в газете обогатила писателя жизненным опытом, жизненными наблюдениями, научила активно вмешиваться в жизнь, отточила перо.

В 1941 году в апрельской книжке московского литературно-художественного журнала «Красная новь» появились его рассказы «Гость», «Весна» и «Отец». А в 1944 году Ставропольское книжное издательство выпустило первый сборник коротких рассказов И. Чумака, названный просто и точно: «Атака». Это фронтовые зарисовки о мужестве советского человека в годы Великой Отечественной войны.

Писатель тяготеет к малым формам прозы. Его небольшие повести, рассказы, очерки, короткие новеллы интересны, прежде всего, взволнованным повествованием о советской действительности, о людях, преобразующих землю, встающих на борьбу за свои убеждения и идеи. О простом, обыденном пишет он, о самых, на первый взгляд непримечательных людях. Но добрый огонь подлинной романтики, истоки которой в чистом роднике вековечных народных легенд, освещает образы его героев. И какую своеобразную окраску получают в книгах Ильи Чумака эти легенды, переплетаясь с нашей кипучей и привычной жизнью, продолжая ее и вытекая из нее!

...Взлетает на курган конь невиданной красоты: на нем золотая уздечка и серебряное седло, а на бархатных подпругах приторочена боевая казацкая шашка. Никому не удавалось обуздать красавца коня. Лишь партизану Иосифу Апанасенко посчастливилось добиться этого, «потому что правда на его стороне, а шашка из тех хризолитовых ножен обнажается только за правду». И вот отступают перед красными партизанами черные эскадроны, издали похожие на «огромную воронью стаю...»

Где конец легенды и начало были в этом рассказе о подвигах прославленного ставропольца генерала Иосифа Родионовича Апанасенко? Здесь нельзя провести четкого раздела. Но обращение к напевной народной речи, к преданиям о чудо-коне и великих богатырях делает цикл рассказов «Степная легенда» еще более правдивым и достоверным. И в самом деле, разве не богатыри те люди, которые рядом с Апанасенко? Они во всем

подстать командиру, немногословные воины, за которых говорят их дела, их подвиги!

...Идет обоз со ставропольской пшеницей на выручку Царицыну. Белогвардейский полковник Зеус хочет перехватить обоз. Корней Яковенко попал к врагам в плен. И здесь, в пустынной степи, далеко-далеко от лесов, видевших подвиг простого русского мужика, повторяется спустя века подвиг Сусанина. Корней заводит вражью силу подальше от обоза, в песчаные буруны. «Его окликнули и остановили уже невесть где, он и сам не знал где. А когда окликнули и остановили, в последний раз взглянул на ту звезду, которая горела над заветным Царицыном, и под ударами шашек свалился на холодный песок...»

Трагичны концовки многих рассказов Чумака. Умирает в бою генерал Апанасенко, которому пришлось бить и гитлеровскую нечисть. С открытыми глазами, как подобает герою, встретила смерть бесстрашная разведчица Анка. Замерзает в степи табунщик Никита, спасая от фашистов коня, за которого заплачена тысяча тысяч трудовых копеек.

Но жизнеутверждающим пафосом проникнуты даже самые, казалось бы, мрачные страницы. В сыпучих песках убивают бандиты старого агронома-самоучку Кузьму Шумейко, несущего людям драгоценные, по одному собранные, семена чудесной травы, которая может остановить пески разливом своей зелени (повесть «Буруны»). Но на месте гибели Шумейко поднялась трава «шумливая и волнистая, удивительная среди мертвых бурунов. Все лето трепал ее суховей и жгло знойное солнце, но лужайка не увядала. Вокруг неслась песчаная поземка, вырастали и вновь исчезали дюны, а она цвела и цвела расписным васильковым цветом». Чудодейственные семена победили пустыню.

Дело, начатое Шумейко, продолжили молодые агрономы Андрей Панкратов и Марина Кандыбина, которые вывели великолепную пшеницу и вернули к жизни омертвевшую бурунную землю.

Красоту человека—не внешнюю, картинную, а

подлинную красоту трудового человека,— его душевное богатство, щедрость любит показывать Илья Чумак. Есть у него рассказ «Золотая ярлыга», который как бы освещает ведущую тему, главный ориентир его творчества. Здесь очень ярко и выпукло предстают основные, определяющие черты мастерства И. Чумака. Как и в других рассказах, здесь начало лежит в народной легенде. За котелком пахучего шулюна (остуженный навар из свежей баранины) чабан Троян рассказывает легенду о золотой ярлыге. Бездельник богач Курдыбан отчеканил ее для себя на похвальбу: хотел себя трудягой показать.

И эта легенда тонко вплетена в рассказ о трудовой доблести простого чабана, в умных руках которого простая деревянная ярлыга становится символом красоты труда, огромного душевного богатства. Это поистине волшебная ярлыга. Она приносит не только миллионные доходы колхозу. Она дает счастье, почет, уважение и, главное, огромную радость от большого осмысленного труда, пробуждающего плодоносную силу родной земли.

И недаром два хлопца, пришедшие к старому Трояну искать «всамделишную» золотую ярлыгу, сердцем потянулись к трудной чабанской работе, сами обзавелись «золотыми» ярлыгами...

Дороги писателю люди труда, потому что в них торжествует жизнеутверждающее начало, стремление созидать и приумножать красоту земли родной. Чтобы цвела земля,— вот лейтмотив жизни героев Чумака. В них явственно видим преемственность поколений, их великую дружбу — кровную связь отцов и детей. Лихие конники партизанской дивизии Иосифа Апанасенко (цикл рассказов «Степная легенда»), ставропольцы — строители Красноярской ГЭС, уехавшие в Сибирь по зову партии и комсомола (очерки «Покорись, Енисей!»), молодые селекционеры Андрей Панкратов и Маринка Кандыбина (повесть «Буруны») — как непохожи и в то же время духовно близки между собою эти люди. Их роднит единая большая мечта о счастье родной земли, сила действия, устремленность в будущее.

Крепкие, волевые, щедрые люди населяют книги И. Чумака. Жанр очерка — один из любимых жанров писателя.

В очерках И. Чумака находит прекрасное преломление горьковская тема: «Дело человеком ставится, человек делом славится». Герои очерков — люди творческие, ищущие, отдающие себя целиком любимому делу.

Счастливая судьба у механизатора Г. И. Чумакова из станицы Советской (очерк «Судьба»). Он — Герой Социалистического Труда, всеми уважаемый человек. Но свою судьбу Григорий Иванович создавал сам, собственными руками. Страстная влюбленность в технику еще на школьной скамье определила весь дальнейший путь Чумакова. Неутомимый комбайнер незаметно, но верно поднимается к вершинам трудовой доблести. И путь Г. И. Чумакова — путь сотен и тысяч. Работа знатных овцеводов, братьев Харечко — Григория и Дмитрия — также убеждают в великой силе творческого труда. Горячее соревнование, своеобразное соперничество братьев подчеркивает их преданность общему делу — выведению знаменитой тонкорунной породы овец.

Герои очерков И. Чумака чувствуют себя хозяевами земли и по-хозяйски, по-государственному подходят к решению многих вопросов. Старейшего и опытнейшего мастера золотого руна из Левокумья (очерк «Сыновья лауреата») тревожит мысль, кому же передать свою чабанскую ярлыгу. «Ярлыга — не для забавы. Она для дела. Да и прежде чем брать ее в руки... сперва надо заслужить на то право». И Чаликов терпеливо и упорно прививает своим сыновьям любовь и уважение к сложному чабанскому ремеслу, растит себе смену, чтобы передать чабанское дело в надежные руки.

Любить свой край, видеть красоту, мужество, душевное благородство его людей, уметь находить героическое в самом обыкновенном, будничном — вот чему учит своих читателей Илья Чумак!

В 1962 году общественность края отметила пятидесятилетие со дня рождения своего писателя.

Пятьдесят лет, полвека жизни — это немалый

срок, особенно если более тридцати из них отданы такому тяжелому и ответственному труду, как труд журналиста и писателя. И надо сказать, что Илья Чумак достиг серьезных творческих успехов, сохранив энергию, молодость души и сердца, силы для дальнейшего пути, не менее трудного и обязывающего. «Служить источником радости и вдохновения для миллионов людей, выражать их волю, чувства и мысли, служить средством их идейного обогащения и нравственного воспитания» — такие задачи поставил XXII съезд партии перед писателями, об этом говорит новая Программа КПСС.

Служению своей страны, народу отдает свое творчество и Илья Васильевич Чумак, воспевая в своих произведениях красоту и силу советского труженика, вся жизнь которого — неутомимый поиск, беспредельное стремление к творческим победам во имя родной земли.

Л. ОРУДИНА



Рассказы об Апанасенко

СТЕПНАЯ ЛЕГЕНДА

Если выйти в степь, освещенную лунным светом, его можно увидеть своими глазами. Он будет стоять где-нибудь на кургане или на вершине ближнего увала. Настороженно оглядываясь вокруг, конь стукнет раз-другой копытом о землю и громко заржет. Эхо от этого ржания далеко разлетится по степным перелогам и балкам.

Конь тот невиданной красоты. Шея у него изогнута, как у лебедя, а тугой тонкий круп словно выточен из красного мрамора. На нем золотая уздечка и серебряное седло, а на бархатных подпругах чуть наискось приторочена боевая казацкая шашка в дорогом хризолите.

Конь будет стоять на виду до первого предрассветного взлета жаворонка, а когда, наконец, заструится звонкая трель, сразу насторожится и чутко взведет свои острые, высокие уши. Дрожь пробежит по его крупу, резко зазвенят удила. Будто учуяв опасность, он ринется вперед и поскачет дальше, в глухую пустыню степи. И уже через мгновение исчезнет, растает в ночи.

...Чаще всего этого коня видят митрофановские чабаны и табунщики. В руки он им не дается, но порой подходит к их ночному костру почти вплотную. Сквозь предутренний сон они не один раз слыхали, как он осторожно обнюхивал их папахи и бурки — память буденновской славы. Уже угасший было костер снова воспламенялся от его сильного и горячего дыхания.

Я услыхал об этом сказочном коне на Черных землях. Я приехал туда, чтобы отыскать среди чабанов и табунщиков старых боевых товарищей покойного Апанасенко. Там где-то, в золотурганных балках, ходил с отарой мериносов его побратим Захар Остапенко — тот самый, который привел в осажденный Царицын пятьсот сорок восемь подвод со ставропольской пшеницей. Там же можно было найти отважного разведчика Ивана Калюжного, удалого рубаку-краснознаменца Ляшенко, геройских конников Яковенко, Белокопытова, Задорожного, многих бывших бойцов знаменитого краснопартизанского отряда на Ставрополье.

Стоял ясный осенний вечер. От запашистого восточного ветра по мглистой степи плавно бежали гибкие волны трав. Воздух был насыщен густым пряным ароматом целинной земли. Светила луна, и в ее призрачно-синем свете все казалось таинственно-незнакомым. Мягкий полумрак ночи наполняли своим звоном цикады, навевая на степь грусть и уныние.

С часу на час на чабанский стан должен был прийти Захар Остапенко, и я, томясь ожиданием, присел к костру бригадного сторожа — угрюмого старика в старой, уже истрепанной кавалерийской бурке. Он спросил, откуда я родом и по какому такому делу приехал на Черные земли. Я ответил, и вот здесь-то старик рассказал мне эту легенду.

...Он гуляет в ставропольской степи с давних времен. Вольного коня в этих краях приметили еще деды. Обуздать его никому не удавалось. Его ловили арканами, заманивали промеж скирд и в овраги, но конь все равно прорывался через заставы и снова уходил на свободу. Однажды лихой наездник Гаврило Бурим все же сумел схватить его под уздцы и вскочить в седло; Гаврило носился по степи двое суток, а на третьи — чабаны нашли его в ковылях Горькой балки сброшенным наземь. В том месте до сих пор белеет отесанный камень, под которым лежат кости разбитого насмерть удалого табунщика.

Были суровые дни. В огне пожаров из конца в конец пылала родная ставропольская степь. В балках и

перелогах гремели орудия, строчили пулеметы. У далеких курганов слетались отряды лихой конницы, и начиналась рубка, какой еще не видели и не знали эти места. Солончак порыжел, пропитавшись людской кровью, а вытоптанные сапогами и копытами травы пожелтели, словно от засухи.

Враг был намного сильнее партизанского отряда храброго Апанасенко; он тучей надвигался на родные ставропольские степи, полоня село за селом. За спинами партизан уже зашумел дремучими камышами Маныч — дальше отступать было некуда. В лунную ночь под Ивана Купала партизаны готовились к последнему бою.

Тяжелую думу думал в ту ночь Апанасенко. Томимый бессонницей, он долго бродил по задремавшей степи вокруг стана своих боевых побратимов. Ему не страшна была смерть, но умирать без отмщения, без победы он не хотел. Бой, который опять загремит на рассвете, надо было выиграть любой ценой.

Земля говорит великую правду, и, если ты приложишь к ней ухо и чутко прислушаешься, можешь услышать скрытую ее мудрость. И, если ты любишь родную землю и готов сложить за нее голову, расскажет она, где твоя истинная дорога.

За землю родную Иосиф Родионович Апанасенко уже не раз пролил свою кровь и, когда прилег на траву, сквозь тихий полынный шелест услышал ее ласковый голос:

— Выйди на ближний косогор, оглянись на восток, и там, на кургане, ты увидишь гнедого коня. На нем золотая уздечка и серебряное седло, а на бархатных подпругах приторочена боевая казацкая шашка. Лови его, добрый молодец, а когда поймаешь, обуздай и скачи на нем в бой. Правда на твоей стороне, а шашка из тех хризолитовых ножен обнажается только за правду.

Поцеловал герой землю, встал, взошел на косогор и оглянулся на восток. Оглянулся и сразу увидел на ближнем кургане коня. Ударив копытом о землю, гнедой красавец вскинул свою легкую голову и громко заржал.

Затаившись в бурьяне, Апанасенко долго не мог оторвать от него глаз, а когда невесть откуда появившаяся в чистом небе быстрая черная тучка набежала на

луну, опустился на землю и пополз вперед. Ни одна ночная птица не взлетела возле него, ни один стебелек молочая не зашелестел под его локтями — так он полз тихо и осторожно. Чудо-конь в любое мгновенье мог сорваться с кургана и умчаться вдаль.

Как из тайной засады прыгает рысь, так и он, Апанасенко, вскинулся над склоном кургана, когда, наконец, оказался в трех шагах от коня. Он рывком схватил коня под уздцы и, по-молодецки ударив ногами о землю, птицей взлетел в седло. Учуяв на своей спине седока, конь бешено отшатнулся и, затрепетав весь, одним страшным прыжком слетел с вершины кургана. Стремительный топот его копыт раскатился вокруг такой гулкой дробью, что задрожала земля.

Всю ночь до рассвета он носил по степи отважного партизана. Скрытый в бурьянах дозор с немым удивлением глядел на странный вихрь, то и дело пролетавший мимо. Пыль и сухая трава крутились во мгле с яростным свистом. Тот, кто был особенно чуток, ясно слышал порывистый храп коня, удары плети и звон уздечных насечек.

И вот, когда над горизонтом взошло солнце, а вдали заиграл вражий горн, предвещающий близкую схватку, партизаны заметили скачущего к стану всадника в серой папахе. На боку его ярко блестела кривая казацкая шашка. Издали она казалась охваченной жарким пламенем. Всадник мчался как ветер, и черная бурка его походила на распластанные крылья летящего под тучами беркута. Это был Апанасенко.

— Ну, братки-товарищи! — крикнул он, круто осаживая взмыленного гнедого коня.— Поцелуем мать-сырую землю. Поцелуем ее — и в бой!

Партизаны приклонились к земле и дружно вскочили на своих коней. Красное знамя завеяло по ветру. Три тысячи всадников разом сорвались с места в галоп. Они хлынули следом за своим Родионовичем, как штормовая волна.

По голой степи со стороны вражьего стана тотчас полетели медные звуки тревоги. Черные эскадроны торопливо стали разворачиваться для контратаки. Издали они были похожи на огромную воронью стаю. Дикий галдеж, поднявшийся над морем овчинных папах, усиливал это сходство.

— За свободную жизнь, за власть Советскую!— закричал Апанасенко и, прочертив в воздухе своей шашкой огненный круг, первым с ходу врезался в густые ряды врага. Бравый есаул, бросившийся ему наперерез, обезглавленный, тут же слетел с седла. Шашка Родионовича зазвенела, словно коса на росистом покосе. И полилась вражья кровь...

До полуденного солнца шумела в степи горячая рубка. А в полдень над степью снова зазвучал вражий горн, призывая уцелевших к поспешному бегству. Партизаны гнали поредевшую воронью стаю тридцать пять верст и только на тридцать шестой придержали разгоряченных коней — оглянуться на освобожденную степь.

Победа была полной, но впереди лежало еще много родной земли, которую топтал враг, и лихой командир отряда не отпустил коня на свободу. Чтобы он не ушел, Апанасенко не выпускал из своих рук поводьев ни днем, ни ночью. Но конь скоро привык и стал его верным боевым другом. Он пронес на своей спине Родионовича по всем фронтам, от моря до моря, за самый Буг-реку — границу...

...А теперь этот конь опять бродит в наших местах,— после долгого раздумья сказал чабанский сторож.— Он появился тут опять после смерти Иосифа Родионовича. Говорят, он ищет его могилу. И еще говорят, что, умирая, Апанасенко кому-то из своих побратимов передал особое, тайное слово. Скажи его — и конь тут же откликнется ржанием и подскачет.

Откликнется и подскачет, в своем прежнем убранстве, такой же сильный и резвый, как и тогда, в ту далекую пору...

СТЕРНЯ

Месяц, в котором созревает пшеница, люди называют благословенной порой. В такую пору хлебороба тянет в степь, к своим посевам. Там он разминает колосья, встряхивает на ладони зерно и, прищурив глаза, долго о чем-то раздумывает в одиночестве.

Ушел в степь и Родион. Знал, что на узкой солончаковой полоске пшеница не поднялась выше колен, и все же не удержался, ушел.

«Эх, Родион, Родион, до чего же нескладно сложилась твоя судьба. Вон в стороне шумит чья-то пшеница, не пшеница, а радость, а у тебя на бедняцком наделе зеленеет одна лебеда. Обманула тебя надея, и, видно, опять и тебе, и твоей молодой Василисе придется идти батрачить к какому-нибудь богатею».

Несколько раз прошел вдоль своей унылой полоски Родион Апанасенко, но так и не увидел колоса, который захотелось бы сорвать и размять на ладони. Пшеница зрела такая низкорослая, чахлая, что не обещала вернуть даже семени.

Было знойно и тихо. По желтой степи легко и безмолвно скользили сизые тени облаков. Откуда-то из балки плыла протяжная девичья песня, но когда налетал порыв ветра, песня обрывалась и по степи рассыпался все тот же встревоженный шелест травы.

Вдруг совсем близко звонко зацокала колесами окованная тачанка. Мимо кто-то ехал, и ехал не бедняк: у бедняка не могла так красиво цокать тачанка. То, видно, возвращался со своего поля Павел Никифорович Тарасов...

Родион не ошибся. На ближнем проселке меж кулигами соседской пшеницы показалась тачанка Тарасова. Правил лошадьми его меньший сын Савелий, а сам Тарасов, жуя во рту соломинку, полулежал и с усмешкой оглядывал проплывающую мимо тачанки низкорослую чужую пшеницу.

— Здорово, Родион! — крикнул Тарасов и, будто вспомнив что-то, приказал Савелию натянуть вожжи.

Родион снял картуз и поклонился. Налетел новый порыв ветра, и оттого поклонилась Тарасову и пшеница.

— Да, вижу, плохи твои дела, Родион.

— Плохи, Пал Никифорович. Стою вот и думаю...

— Что ж, оханьем поля не переделаешь,— сказал Тарасов.— Давай приходи со своей молодухой — завтра я косить начинаю. Заодно и отцовский должок отработаешь.

Родион вздохнул.

— Василисе нельзя: она на сносях.

Выплюнув изо рта соломинку, Тарасов привстал:

— Эка страсть. Как-нибудь мешки с зерном таскать не заставлю. Как-нибудь поберегу твою Василису...

Он протянул руку, поймал раскачивающийся возле задней ступицы одинокий пшеничный колос и так, скуки ради, размял его на ладони.

— А один-то ты что ж? И отцовский должок не отработаешь.

Родион снова вздохнул, и, как ему показалось, вздохнула в эту минуту окрестная степь. От налетевшего ветра пшеница пригнулась к земле, а потом снова приподнялась широкой и шумливой волной.

— Так решай, не то в суд подам.

— Ладно, придем,— глухо ответил Родион и, чтобы скрыть напросившиеся на глаза слезы горькой обиды, отвернулся от Тарасова.

* * *

Четвертый день не разгибает спины Родион. Мать не наделила его завидной судьбой, зато одарила богатырской силой. Расхаживая меж снопов, Павел Никифорович не налюбуется его работой. Косари-ногайцы еще не доходят до средины загона, а Родион уже шагает обратно, на новый заход.

И все же Павел Никифорович злится. Василиса часто не добрасывает снопы на груженый воз. Снопы падают вниз и от удара о землю осыпают зерно. Глядя на это зерно, Павел Никифорович едва находит силы, чтобы сдержать себя, не пихнуть сапогом в Василисин живот.

— Ты б ее проучил, Родион! Если б была у меня на то воля...

У Тарасова была на то воля. Он бил своих батраков смертным боем. Придурковатый пастушонок Гараська так и помер от удара его сапога. И если он не трогает сейчас Василису, то лишь потому, что тут же машет косой Родион Апанасенко.

— Проучи, ради бога...

Чтобы заглушить звоном косы этот ненавистный голос, Родион еще ниже наклоняется к колосьям пшеницы. Ему и без того тяжко. Он не зарабатывает сейчас, а отрабатывает долг, значит, снова им с Василисой придется всю зиму мыкать горе. Хорошо, если родится сын — на сына он получит надел, но если родится дочь, так, видно, и проживет свою жизнь Родион в вечной нужде.

Когда-то мать говорила: терпи, сынку,— не отведаешь горького, не увидишь и сладкого. Но где же оно, где это сладкое, если давно все прогоркло и во рту, и на сердце.

Срезая пшеницу, коса звенела, словно туго натянутая струна, и потому Родион не услышал, как Василиса вскрикнула и застонала. О том, что жена рожает, он узнал лишь, когда дошел до самой межи и оглянулся, чтобы окинуть глазом только что прокошенный им загон.

Василиса лежала возле колес телеги прямо на колючей стерне. Она уже не плакала и не стонала, а, завидев Родиона, тяжко вздохнула и указала глазами на ближний сноп пшеницы.

— Мертвый? — тревожно спросил Родион, вытирая фуражкой мокрое лицо от пота.

— Нет, живой,— тихо ответила Василиса. И по тому, как она ответила, Родион понял: у снопа скошенной им пшеницы лежал сын.

ГОЛУБОЙ ГОРИЗОНТ

Вечер. Сладкий запах чабреца и полыни наполняет воздух. Курган мрачнеет и сливается с небом. Вокруг, насколько хватает взгляд, воцаряется сумрачное молчание. Угасает заря, и в таинственный шелест трав постепенно вплетается мерный стрекот цикад.

Иосиф оглядывается в сторону родной Митрофановки и устало опускается на траву. Ему не привыкать спать в летние ночи на голой земле, дикие травы и убаюкают и согреют.

Но перед тем, как уснуть, Иосиф еще долго лежит с открытыми глазами. Знать бы, о чем это шепчут вокруг него ковыли...

Что ж, прощай, Митрофановка! Хоть и родная она, да, видно, не найти в ней Иосифу счастья... Мать с отцом его не жалеют, заставляют все лето жить на колючей стерне возле чужого коровьего стада. Тарасов бьет чем попало и кормит одним черным хлебом. Свитка давно изорвалась, обувки нет, на штанах латка на латке. Такой несчастной жизни, как у Иосифа, нет ни у кого на свете....

Чтобы избавиться от этих горестных дум, Иосиф прикладывает ладони к уху и чутко прислушивается к тихому шепоту трав. Уж не хотят ли они, эти травы, рассказать ему про ту жизнь, которая скрыта за горизонтом? Он идет туда уже третий день, только никак не поймет, почему это горизонт не приближается, а уплывает от него все дальше и дальше...

* * *

Павел Никифорович Тарасов сам встречал свое стадо. Он любил глядеть, как сытые и гладкие до блеска коровы одна за другой сворачивают в сторону его распахнутых настежь ворот.

Когда проплывала мимо поднятая стадом белесая дорожная пыль, Павел Никифорович удовлетворенно щелкал хворостиной по лакированному голенищу и подзывал пастуха. Внимательно оглядев его с головы до ног, Тарасов протягивал руку, ловил пухлыми пальцами опаленный степным солнцем нечесаный чуб и говорил, усмехаясь:

— Чтоб ты у меня старался, сучий сын.

Было больно, но Иосиф молчал. Он знал, что, если он не выдержит боли и закричит, Тарасов его не взлюбит. А уж если Тарасов кого не взлюбит, тому добра не ждать. Или прибьет, или прогонит домой.

А как прийти домой, когда там и без Иосифа садится за стол одиннадцать душ? То-то будут рады, увидев его на пороге.

— Уж я стараюсь... изо всей мочи стараюсь.

Павел Никифорович выпускал из пальцев жесткий чуб Иосифа и снова удовлетворенно щелкал хворостиной по своему блестящему голенищу. То, что отвечал пастух, ему было по сердцу; он не позволял своим батракам задаром есть хлеб и трепать хозяйскую одежду.

Может, оттого Иосиф радостно забывался, когда оставался в одиночестве, среди курганов и балок. Когда коровы ложились у водопоя на полуденную жвачку, Иосиф сбрасывал с плеч рваную тарасовскую свитку и, не оглядываясь назад, убегал куда-нибудь на курган. Он ложился на ковыли и, прикрыв ладонью глаза от яркого солнца, долго вглядывался в далекую черту горизонта. Ему казалось, что там, где небо захо-

дит за землю, таится какой-то хороший сказочный край. Там не палит жаром полуденное солнце, не крутит пыль и не дует горячий восточный ветер. Люди там пьют воду из родниковых криниц и от зноя укрываются в тени густых деревьев. И сами люди там совсем не такие, как в Митрофановке. Они не злые, они не бьют малых, не таскают их за волосы без всякой причины...

И было не раз, когда Иосиф до слез жалел, что у него нет за спиной птичьих крыльев. Были бы эти крылья, он давно улетел бы туда, к небосводу, в тот скрытый от глаз синим маревом зноя край.

Но вот однажды, вернувшись с кургана, Иосиф увидел тырло пустым. Коровы ушли. Их что-то спугнуло, и они разбрелись по степи, покинув тырло без времени. На тырле лежала одна рваная свитка.

То была беда, потому что кругом зеленели посевы, и пастух опрометью бросился в ближнюю балку разыскивать стадо. Он искал его долго, почти до самого вечера, но когда, наконец, нашел, не обрадовался, а испугался. Коровы зашли в некошеное просо Тарасова, и сам Тарасов, злобно размахивая над головой хворостиной, выгонял их оттуда.

— Так, значит, стараешься, сучий сын? — завидев бегущего Иосифа, крикнул Павел Никифорович.— Так, значит, благодаришь за мой хлеб и одежу?..

И, подойдя вплотную, протянул руку, чтобы поймать непутевого пастуха за нечесаный чуб.

— Дядя Павел,— зажмурив от боли глаза, взмолился Иосиф.— Я больше не буду, вот провалиться мне... вот на мне крест...

— Не будешь,— жестко усмехнулся Тарасов.— Ты платить мне будешь. С отца твоего, голодранца, взыщу за эту потраву... Снимай мою одежду.

Иосиф испуганно поднял на него глаза.

— Снимай, снимай. На кой ляд ты мне нужен. Другого хлопца возьму... не такого растрепу.

— Да как же, дядя Павел?

— Снимай! — выходя из терпения, крикнул Тарасов и замахнулся хворостиной. Ноздри его раздулись, глаза сверкнули как угли.

— Или играться тут буду с тобой средь бела дня?..

Приподнявшись на цыпочки, чтобы хоть немного облегчить боль, Иосиф торопливо начал стаскивать свит-

ку. Слезы душили его, но он уже не жалел ни о чем: он снимет сейчас эту проклятую свитку и уйдет, уйдет пешком туда, за горизонт...

* * *

Иосифа разбудила предутренняя прохлада. Открыв глаза, он долго не мог понять, отчего он лежит на земле в незнакомых местах. Он вспомнил все только тогда, когда увидел невдалеке четко очерченный на лазоревом небе черный контур кургана.

Встал, умылся росой и пошагал дальше. Когда дошагал до чабанского колодца, взошло солнце — огромный холодный шар. Степь озарилась, и перед глазами возник новый, привольно раскинувшийся по ней перевал. Горизонт опять отодвинулся в безвестную даль, опять затерялся где-то меж едва различимых голубых косогоров.

И было странно Иосифу — столько пройдено верст, а вокруг все та же унылая и серая степь, та же полынь и тот же репейник. И среди этой полыни и колючих репейников те же коровы, те же исхудалые и оборванные пастухи, что и там, на митрофановских пастбищах.

— Эй, хлопчик, чего ты здесь шляешься? Аль не видишь, впереди злые овчарки...

Иосиф замедлил шаг и оглянулся на окрик. Чуть в стороне от проселка, возле угасающего костра, сидел бородатый старик. Взгляд его прищуренных глаз выражал удивление и тревогу.

— Ну, не робей, подходи.

Поколебавшись немного, Иосиф раздвинул руками репейник и подошел к костру. Он был рад этой встрече. Сейчас он присядет на землю и расскажет старику все без утайки. А потом, когда тот его пожалеет, спросит дорогу в заветный край.

Старик выслушал мальчика с задумчивой грустью. Когда же Иосиф умолк и вопрошающе вскинул свои запыленные ресницы, тяжко вздохнув, ответил:

— Молодо — зелено... Нет, милок, такого края ты на земле не отыщешь. Везде оно одно. У вас в Митрофановке — Тарасов, у нас — Курдыбан, у других—Иванов какой-нибудь вроде. Они-то и держат в кулаке нашего разнесчастного брата, сосут из нас кровь...

И, уже вставая, чтобы уйти к своей отаре, добавил:

— А что касаемо этой самой дороги, то не тут она, хлопчик. И не такая она, как ты сейчас о ней мыслишь. Совсем не такая.

СОЛОНЧАК

...Степь тихо колышется в мареве зноя. Жарко и душно. В горячем круге неба ни облачка — только палящее солнце да одинокий ястреб, неподвижно повисший над ближним курганом.

На седых плешинах солончака звонко пересвистываются друг с другом суслики. Они осторожно оглядывают пустынную степь и то приседают, то снова встают на задние лапки. Чем-то грустным и унылым веет от их жизни на голой земле.

В пожелтевшей пшенице, опутанной повиликой, ворошатся ящерицы и земляные лягушки. Изредка со стебля на стебель прыгают усатые кузнечики. Словно заигрывая с ними, над чахлыми колосьями с тихим звоном кружатся большие степные мухи.

Одиночество...

Иосиф устало оперся подбородком о ручку косы и тяжело задумался. Узкая полоска низкорослой пшеницы уже кончилась: в десяти шагах начинались выпасы местных богатеев. Чужая земля уходила до самого горизонта — вширь и вдоль. Прекрасная земля. Солончак достался в удел лишь бедняку Родиону, отцу Иосифа. На горьком солончаке суждено и его сыну искать свое мужицкое счастье.

«Эх, счастье, счастье, в какой стороне ты затерялось? Доведется или так и не доведется увидеть тебя сыну старого Родиона? Знать, и на его роду такая же горькая бедняцкая доля».

Иосиф вытер рукавом вспотевший лоб и, вскинув на плечо косу, торопливо зашагал в сторону своего стана. Там, под скирдой соломы, он еще на рассвете оставил больную мать. Старуха, видно, надорвалась, когда помогала ему вытаскивать рухнувшую в овраг слепую кобылу. Теперь мать не могла даже пошевелиться.

Тень от скирды давно сползла в сторону, и сын увидел родную мать, лежащей на солнцепеке. Глаза ее ввалились еще сильнее. Запыленные морщины вокруг

горячего рта залегли глубже, и вся она неузнаваемо сникла и сжалась от своей боли.

Заслышав шорох соломы под сапогами Иосифа, старуха болезненно искривила мятые губы и тихо прошептала:

— Ой, сынок, родной мой... чую, что помираю. Дай скорее напиться.

Иосиф кинул на вершину скирды косу и, сутулясь от горя, зашагал к бочке.

Но воды в бочке не было. Не было ни одной капли. Через прорез Иосиф увидел пустое дно, источающее горячий запах прели.

— Эх, будь ты все проклято! — вслух выругался Иосиф. Да как же он не доглядел, что вода на исходе? Что теперь делать? Самый близкий колодец — за двенадцать верст. На слепом коне оттуда не вернуться и к вечеру.

Оглянув облитую зноем пустую степь, Иосиф сорвал накаленное солнцем ведро с рундука телеги и, надвинув на лоб фуражку, пошагал к ближнему стану. Стан принадлежал Тарасову. С Тарасовым у Иосифа давнишняя вражда, они дико ненавидят друг друга, но сейчас не приходится с этим считаться — умирает мать...

На стане Тарасова шел обед. В холодке у высокого стога на разостланных ряднах сидело человек десять батраков-ногайцев. Они молча ели пригоревшую пшенную кашу. Сам хозяин сидел чуть поодаль под широким брезентовым навесом. Он уже пообедал и, устало развалясь на подушках, ковырял в зубах соломинкой. По его открытой загорелой груди темными струйками сползал пот.

Иосиф подошел к нему и, не глядя в глаза, сказал:

— Пал Никифорович, позволь набрать малость воды...

— Воды? — сощурившись, переспросил Тарасов. — С какой же это стати, милок? Али, думаешь, колодец у меня тута?

— Да мне всего полведерка, — взмолился Иосиф. — Вечером привезу — отдам.

— Стану я пить из твово ведра! — хмыкнул Тарасов, равнодушно переваливаясь на другой бок. Его грузное тело неловко перегнулось через подушку, он бо-

лезненно скривился и, наконец, улегшись удобно, снова вложил в рот золотистую соломинку.

— Пал Никифорович, не откажи! Богом прошу!..

Тарасов озабоченно почесал у себя под мышкой.

— Видишь, вот и пришлось поклониться,—угрюмо промолвил он, сонно оглядывая Иосифа.— Что ты сказал про меня Митьке Похоле? Забыл?..

— Ничего я ему не говорил.

— Кровопивец... Тарасов—кровопивец... У самого еще мамкино молоко на рыле, а туда же:.. Болячку бы за такие слова тебе на язык... стервецу...

— Не откажи, Пал Никифорович!

Тарасов долго сопел, не отвечал, затем вдруг приподнялся на локтях и, заулыбавшись, сказал:

— Вот попляши... тогда дам.

— Не издевайся, Пал Никифорович. У меня мать помирает, а ты — плясать...

— Не бреши,— сощурился Тарасов,— знаем мы вашего брата...

И, помолчав немного, спросил уже задрожавшим от внутреннего смеха голосом:

— Ну, что сыграть: барыню или гопака?

Иосиф стоял перед ним, строго насупив брови, и молчал. Злоба заклокотала в его горле. Ему хотелось шагнуть вперед и со всего маху ударить по лицу Тарасова железным ведром. И он уже слегка отшатнулся, чтобы развернуть в воздухе руку, уже наклонил вперед голову, но вспомнил про мать и сдержался.

— Ладно, играй,— прошептал он задрожавшими губами.— Только быстрей.

Тарасов одобрительно крякнул и, торопливо засучив рукава полотняной рубахи, хлопнул в ладоши.— Ба-ры-ня, ба-ры-ня,— запел он,— ба-ры-ня, су-да-ры-ня...

И вот Иосиф заплясал.

Пот струился по его обветренной шее, он давно уже весь взмок, задыхался, а Тарасов, покачиваясь от веселого смеха, все еще продолжал выстукивать «барыню». Он оборвал свою музыку только тогда, когда из груди Иосифа вырвался глухой стон, а по щекам потекли слезы.

— Ну, ну,— строго крикнул Тарасов, снова укладываясь на постель,— не разводи мне тут нюни. Набирай воды и уходи к лешему... коли шуток не понимаешь...

Он раздраженно отмахнулся рукой и, чтобы не слышать глухих всхлипов Иосифа, накрыл свою лохматую голову подушкой...

* * *

Иосифу стало легче немного только в ласковом шелесте еще не скошенной пшеницы, по которой он зашагал обратно к себе на стан. Только здесь, среди золотистых колосьев, колыхавшихся как бы в раздумье, будто взгрустнувших перед покосом, он почувствовал облегчение в своем облитом солончаковой горечью сердце. Пшеница была чужая, но ее гибкие шумливые волны, то и дело налетавшие на грудь, как-то сразу освежили его и заставили немного забыться.

Он шагал через хлеба и в думах о матери совсем позабыл о запрете ступать на эту землю. Того, кто самовольно проходил через тарасовские посевы, объездчики избивали до полусмерти...

Земли у Тарасова были лучшими во всей Митрофановке. Каждый год пшеница здесь поднималась по пояс, по грудь. При виде ее зрелой силы Иосифу всегда становилось и радостно и приятно. Хотелось с головой нырнуть в этот ласковый шум, надолго затеряться в его благословенной прохладе. Только там, под колосьями, нависшими над головой позолоченным облаком, он смог бы найти покой от тяжких мыслей о своей невеселой судьбе...

А они — эти мысли — приходили все чаще и чаще и все сильнее разжигали сердце огнем безудержной злобы. Кто бы мог ему ответить, почему жизнь людей устроена так нескладно? Почему у соседа Тарасова надел раскинут от одной окраины неба почти до другой, а у отца Иосифа он лежит узкой солончаковой полоской? Почему сыны у Тарасова каждую зиму ходят в школу, а он, сын старого Родиона, до самой весны пасет чужой скот? Кем заведен на свете такой несправедливый порядок?

Шел Иосиф по тарасовским хлебам, думая эту думку, и не заметил черной фигуры всадника на краю посева. Это был сын Тарасова — Савелий. Приподнявшись на стременах, он пристально глядел на Иосифа, теребя в руке сырцовую плеть.

— А ну, постой! — сказал он, когда Иосиф, наконец, вышел из пшеницы.

Иосиф остановился.

— Ты по какому праву шляешься тута! — толкая шенкелями коня вперед, спросил Савелий и угрожающе поиграл в руке черенком.

Иосиф не отвечал.

— Тебя спрашиваю?.. — уже раздраженно крикнул Савелий и, перегнувшись в седле, наотмашь хлестнул плетью Иосифа. Потом взмахнул ею еще и еще раз, норовя нанести удар наотмашь, сплеча.

Кровяные полосы густо перекрестили спину Иосифа, но он не пригнулся к земле. Он стоял и упрямо ждал, пока опять не засвистит над ним плеть.

Ничего, придет время — Иосиф припомнит их все, эти плети, до одной, и не только Савелию...

И не только Савелию...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

«Ой, сыну, сыну, да где же ты пропадаешь четвертое лето? Уж и девчата стосковались за твоим густым чубом, и яблонька, что ты посадил в палисаднике, зарумянилась пахучим анисом, и крыжовник разросся почти до забора... Хоть бы на часок появился ты в родной хате, поглядел на мать. Она уже старая, жить ей осталось немного. Сегодня на зорьке на крышу присел удод и на ее долю не отсчитал ни одного годочка...

Слухи ходят, что ты живой, но домой возвращаться не хочешь. У тебя, как у того Кудеяра, отчаянные молодцы, которым и жисть-то вся нипочем. Три белых генерала гоняются за тобой да никак не поймают. И в кого же ты удался, риднесенький, отчаянная твоя головушка, коли решился пойти супротив царской власти?..»

Старуха смахнула ладонью со щек светлые капельки слез и взглянула в окошко. Там, за ближним яром, что-то колыхалось — большое и черное, похожее на упавшую тень от полуденного облака. Только тень не бывает такой черной, когда бежит по степи... Матерь божия, да это конница, а черная она оттого, что на всех солдатах лохматые бурки!..

Василиса отвалила повисшие на оборванных петлях ворота и вышла на улицу. Как знать, может, это ее сын ведет свой отряд на Митрофановку? Тот, кто едет впереди всех на саврасом коне, своей бравой посадкой дюже смахивает на Иосифа. Но собаки, выскочившие из подворотен навстречу коннице, ни в ком не признали своих. Они яростно кинулись под копыта, захлебываясь озлобленным лаем. А на того, что едет на саврасом коне, рванул цепь апанасенковский Кудлай.

Задрожали руки у старой Василисы. Ее серденько учуяло лихо, да и немалое. Видно, не зря на коньке ее хаты ни разу не прогодовал удод...

Василиса вбежала в хату и поспешно стала снимать со стены застекленные рамочки с фотографиями сына. Иосиф глядел на нее то безусым подростком, то солдатом — такой спокойный и ясный, а мать стояла посреди хаты и не знала, куда его спрятать от поруганий. Она стояла долго, перепуганная и растерянная, и только когда заскрипели ворота и дико взвизгнул под ударом шашки Кудлай, рванулась в передний угол и заложила фотографии за черную рамку иконы.

Еще колыхались на темной иконе концы расшитого розами рушника, а на пороге уже стояли чубатые солдаты в низких, перехваченных белыми лентами мерлушковых шапках. Они угрюмо оглядели хату и, вытерев рукавами вспотевшие лбы, полезли в карманы, чтобы достать кисеты.

— Чи тута, чи не тута живе Апанасенко? — спросил один из них, рябой и усатый, равнодушно сбивая щелчком со своей гимнастерки божью коровку.

— Тута, — ответила Василиса. — Я маты его...

— Тебя-то нам и треба!

Рябой и усатый вразвалку подошел к окну, отдернул марлевую занавеску и кому-то кивнул. Вошло еще трое, таких же плечистых и чубатых, только годами постарше.

— А ну, посторонись, халява старая...

И сразу в хате все полетело вверх тормашками. Казаки перевернули столы, раскидали постель и начали вспарывать шашками пуховые подушки. Потом они разбили винтовками сундук, оборвали оголенными шашками шпалеры на стенах, взломали печь, и, когда ничего не нашли, повели глазами на икону.

— Ой, сынки,— запричитала Василиса,— да это ж сама троеручица!.. Я венчалась под нею...

— Замолчи!.. Не вой тут над ухом! — крикнул на нее рябой и усатый и, оттолкнув старуху, подошел к иконе. Он посмотрел на нее исподлобья, будто убеждаясь, в самом ли деле у богородицы три руки, затем подсунул под раму шашку и коротким рывком сорвал икону со ржавых гвоздей. Она со звоном упала на пол, просыпав стекло и все фотографии, спрятанные от вражьего глаза.

Гулко забилось сердце Василисы. Пустой угол хаты предстал перед ней, как вытекший глаз.

— Что же стоишь? Подбирай! — кривясь в недоброй усмешке, сказал Апанасихе рябой и усатый.— Надо ж полюбоваться разбойничьей личностью твоего выродка... Сова, чай, не родит сокола, а такого же черта, как сама...

Он долго рассматривал на фотографии бравого прапорщика при крестах всех четырех степеней, а Василиса стояла возле него и тихо ожидала своей судьбы. Теперь она не плакала и не дрожала: у нее уже не было страха. Хоть она и сова, но родила все же сокола, гордого сокола! Еще в годы юности, когда выходил он на гулянку, девки заглядывались на его широкие плечи. Ни пуля, ни шашка не взяли его на войне. Он вернулся оттуда героем, весь в крестах и медалях, старики, и те снимали перед ним шапки. Кроме Тарасовых да их подпевалы Похоли, которому всякий ветер попутный, никто в Митрофановке не скажет об ее сыне недоброго слова. Вот и теперь он жизни не жалеет своей, бьется за долю народную. Партизаны его командиром назначили, потому что другого меж них не нашлось такого смелого и храброго, как ее сын.

Какие б муки ни придумали для нее эти вороги, она все равно счастливая, что вскормила его своим молоком.

И она не удержалась, взяла и сказала:

— Мой сын стоит за правду, а правда светлее солнца. Каяться вам перед ней, каяться — не раскаяться...

Рябой и усатый поднял на Василису глаза и строго нахмурил брови. Он не сразу понял, про что сказала старуха, а когда понял, красные пятна выступили на его бритых скулах. Он оглянулся на молчаливо стоя-

щих у порога казаков и чуть заметно кивнул головой в сторону Апанасихи:

— Починайте...

Казаки вскинулись и, расправив плечи, подошли к Василисе. Размотав волосяной аркан, они накинули на нее петлю и затянули, как супонь. Потом отодвинули от стены деревянную лавку, установили, чтобы она не шаталась, деловито, не спеша, прикрутили к ней Апанасиху...

— Кому сказал — починайте!

...На минуту в хате стало тихо. И в этой глухой тишине Василисе вдруг почудилось, будто она лежит не на лавке, а где-то на раскаленной солнцем земле, под широким открытым небом. Вокруг нее едва слышно шелестят пожелтевшие травы, стрекочут кузнечики и жужжат ленивые степные мухи. Ей жарко и душно, нестерпимо хочется пить. Зной высасывает из ее тела последние силы, она уже не может пошевелиться. Все тяжелее и тяжелее становится сердце, оно, как гиря, давит на грудь и своими ударами вот-вот расколет ей голову.

Так и помереть бы Василисе в этот час, если бы не сокол, вдруг появившийся в небе. Широко распахнув сизые крылья, он, словно тучка, закрыл собой знойное солнце. Василисе сразу стало легче. Приятная прохлада щедро пролилась на ее истомленное жаждой тело...

— Лей еще... — отойдет,— услышала она возле себя ненавистный голос рябого и усатого.— От плетей не помирают.

Брошенное пустое ведро ударилось и зазвенело. Потом резко скрипнула дверь, и в хату кто-то вошел. Стукнули каблуки, звякнули шпоры. Все сразу притихло, даже дыхание казаков. Апанасиха открыла глаза, чтобы увидеть, кто же это вошел, но увидела перед собой только туман.

А в хату вошел хорунжий — молодой, высокий и статный, при черненой шашке и резных газырях. Он оглядел казаков и, не ответив на их приветствия, прошел в угол, туда, где лежала на земляном полу разбитая икона. Казаки переглянулись: в карательном отряде такого хорунжего вроде и не было.

— Что вы тут делаете? — спросил он усатого.— Я спрашиваю, что вы тут делаете?..

Рябой и усатый вытянул руки по швам.

— Берем в плети... согласно приказу!

— За что? — сдвинул брови хорунжий и так, словно невзначай, по привычке, положил правую руку на расстегнутую кобуру маузера.

Усатый прищурился на хорунжего: где он видел этого офицера? А видел, и видел совсем недавно. Вспомнил — и отшатнулся, и, став белее ленты на своей шапке, замер. Это был тот самый прапорщик, который только что глядел на него с фотографии.

В хате повисла напряженная тишина. Стало слышно, как в сброшенном с печки сите запищали цыплята, а меж черных от сажи развороченных кирпичей трубы щелкнул сверчок.

— Как же так? — оробело забормотал рябой и усатый, отступая к дверям.— Как же так? Не пойму.

— Сейчас поймешь, продажная шкура,— уже знакомым, родным для Василисы голосом ответил хорунжий и вдруг, рванувшись вперед, со всего маху ударил рябого и усатого в висок рукояткой своего страшного маузера...

НОЧЬ НА ХУТОРЕ МИЛОСЕРДНОМ

Гуляют по степной Ставропольщине лихие партизанские отряды. Под селом Терновским за власть Советскую рубится Костя Трунов, под Винодельным — Ипатов, на благодарненских курганах — ефрейтор Шейко. Льется партизанская кровь во всех концах, а, похоже, напрасно. Бьет противник и Трунова, и Ипатова, и Шейко. Они отходят от родных сел все дальше и дальше. Уже и Маныч близко, по ночам уже слышно, как шумят его камыши, а надо опять отступать. Белогвардейцы опять охватывают отряды железной подковой. Сто семьдесят бойцов из отряда Трунова так и не вышли к своим: всех до одного порубали в Кундулях белоказаки...

В постоянных тревожных думах Апанасенко не раз вспоминал старую притчу. Жил-был старик со взрослыми сыновьями. Почуял он, что скоро умрет, и, чтобы научить своих чад правильной жизни, попросил их однажды переломить обыкновенный ветловый веник. Сыны

едва не перессорились из-за того, кому первому выполнять просьбу родителя. Пришлось бросать жребий.

Хитро усмехаясь в усы, старик долго глядел, как багровели его сыны от натуги. Они брали в руки веник и так, и этак, клали его на колено и под колено, а все зря. Были они все как на подбор, быка валили за рога наземь, но сколько ни бились, ни надрывались на глазах отца, переломить хворост оказались не в силах...

Видно, оттого и не могут устоять против врага краснопартизанские отряды, что сила их не связана в один пучок.

Думы рождают решение и, если есть на то воля, претворяют решение в дело. У Апанасенко нашлась воля — и на хутор Милосердный, затерянный где-то в кевсалинских бурьянах, со всех сторон поскакали командиры партизанских отрядов. Зачем их скликал к себе Апанасенко, они не знали. Но чутьем угадывали все, что клич этот неспроста.

У каждого командира была своя дорога, и в хутор они въехали с разных сторон. И пока они опускали подпруги на взмыленных от долгой скачки лошадях, пока знакомились и здоровались друг с другом, Апанасенко из окна хаты пристально разглядывал их лихие чуприны. Рад был дружному сбору, но не радовали, нет, не радовали его эти чуприны. Много в них было наигранной удали и бесшабашной свободы. Командиры красных отрядов уже сроднились с лихой партизанщиной и полюбили ее. Нелегко теперь подчинить их единой воле, по-солдатски поставить в строй.

В назначенный час Иосиф Родионович велел пригласить их в хату и, когда командиры собрались, притихли на лавках, серьезно начал рассказывать притчу о венике. Он рассказывал ее не спеша, будто ему совсем не дорого время, и чем ближе она была к концу, тем ниже и ниже опускали командиры свои запыленные в дороге чуприны. Они уже угадали, к чему клонится эта речь. И хоть была в ней великая правда, втайне начинали жалеть о загнанных на пути к Апанасенко лошадях.

Давно окончилась мудрая притча, а командиры не шелохнулись. Уперев подбородки в рукояти своих черненых и серебряных шашек, они словно задремали в эти минуты.

— Ну что ж молчите? — оглядев их омраченные лица, спросил Апанасенко. — Разве вам не ясно, что, рассыпанные по степи, мы не остановим врага? Он разобьет нас поодиночке в пух и прах. Как бы мы ни сражались храбро... Сколько бы мы ни бросались на него в атаку...

— Постой,— откликнулся из темного угла Костя Трунов.— Обожди,— и, хлестнув плетью о голенище сапога, вышел вперед.— Ты сказал, Родионыч, что враг разобьет нас. А назови мне хоть один бой, когда я не смазывал ему пятки! А ну, назови...

Тугая поперечная складка легла на лоб Апанасенко. Иосиф Родионович не хотел, чтобы Трунов заговорил первым. В быстрых и озорных глазах Кости он давно заметил недобрую усмешку. Отряд Трунова, и правда, был самым сильным и смелым в ставропольских степях.

— Не гордись, Костя,— стараясь остаться спокойным, проговорил Апанасенко.— Гордиться будем потом, когда победим. А до победы еще далеко... Да и вряд ли она придет, если не откажемся от любимой твоей партизанщины.

Трунов побагровел. Упрек, который бросил ему Апанасенко, обжег его кипятком. Ноздри его раздулись, в глазах вспыхнули бешеные огоньки. Перехваченная крест-накрест офицерскими боевыми ремнями широкая грудь заколыхалась от порывистого дыхания.

— На что ты намекаешь?— спросил он Апанасенко дрожащим от плохо скрытого гнева голосом.— Уж не хочешь ли ты сказать, что я бьюсь не за Советскую власть?

И еще сильнее, почти наотмашь хлопнул плетью о голенище сапога.

— А не думаешь ли ты,— шевельнул бровью Апанасенко,— что без тебя мы ее не отстоим?

Уже не помня себя, Трунов цапнул правой рукой кобуру нагана и резко, как от удара кулаком в грудь, отшатнулся на два шага назад. Такой обиды от Родионыча он не ожидал! Он считал его лучшим боевым другом и втайне благоговел перед его умом, волей и храбростью. Только из уважения к нему он и пригнал сюда своего коня. А он, Апанасенко...

— Не дури, Костя! Ты на командирском совете, а не в своем штабе. Не хочешь слушать правды—уходи!

— И уйду!— сдавленным голосом ответил Трунов.— И уйду! Я уйду, но только попомнишь меня, Родионыч...— и, круто повернувшись спиной к Апанасенко, решительным шагом направился к двери.

— Что ты делаешь?— тревожно шепнул на ухо Апанасенко комиссар Никита Гоголь.— Верни его. Без него мы не сколотим дивизию.

Легкая усмешка скользнула по бронзовому от загара лицу Апанасенко.

— Не беспокойся, Никита,— тоже шепотом ответил он комиссару,— я хорошо знаю Костю. Далеко от нас он не уйдет. Клянусь тебе, что он стоит сейчас на крыльце.

— А если нет?

— Встань, погляди.

Но тот не встал: в словах Апанасенко прозвучала такая уверенность, что тревога в душе комиссара почти улеглась.

А тем временем Иосиф Родионович выпрямился во весь рост, оглядел хмурые лица командиров партизанских отрядов и, будто все уже решено по дружному сговору, сказал:

— Дивизию предлагаю назвать Советско-крестьянской...

* * *

Когда командиры садились в седла, над хутором Милосердным загоралась заря.

Долго стоял Апанасенко на крыльце, слушая замирающий цокот копыт. Присев на ступени, Никита Гоголь молчаливо попыхивал махорочной папиросой. Хутор еще спал, и оттого, что вокруг было по-мирному спокойно и тихо, ему хотелось засвистать какую-нибудь веселую и хорошую песню.

И Никита Гоголь уже сложил губы в трубочку для привычного с детства свиста, как вдруг из-за угла ближней хаты показалась высокая и стройная фигура Кости Трунова. Низко надвинув кубанку на свои брови, он медленно шел к крыльцу, и в глазах его — бог ты мой!— в отчаянных глазах партизана Трунова отражалась задумчиво-добрая и ласковая заря... Целуй его, да и только.

— Родионыч,— сказал он дрогнувшим голосом, останавливаясь в трех шагах от крыльца,— я малость погорячился, так ты не тово... Распорядись, чтобы указал мне начштаба по карте, куда вести свой отряд.

Апанасенко украдкой скосил взгляд на Гоголя и незаметно носком сапога толкнул его в бедро. Затем, сдвинув каблуки, он откинул назад свои широкие плечи и приложил руку к виску:

— Обращайтесь ко мне, товарищ Трунов, по полной форме воинской дисциплины. Идите — такое распоряжение уже дано.

И после того, как Костя Трунов четко откозырнул,— быстро сошел с крыльца и по-братски расцеловался с ним на прощанье.

ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР

В то грозное время хлеба на Ставрополье созрели на диво богатые. Пшеница стояла по пояс, и колосья, отяжелевшие от крупных зерен, клонились почти до земли.

Пшеница уже осыпалась, а никто ее не косил, не связывал в снопы. Степь была пуста, докуда мог видеть глаз. Люди появлялись в ней лишь по сигналу боевой тревоги.

* * *

На окраине неба колышется марево. Издали оно напоминает привольный разлив вешних вод. Будто подмытые дружным набегом волн, курганы приподнялись над землей и поплыли.

Тихо. Всюду звонко рассыпаются песни жаворонков, свистят суслики, льется стрекотание цикад — и все же тихо. Тихо, пустынно и грустно, хотя вся степь, от горизонта до горизонта, шумит и колышется, переливаясь в горячем блеске июльского дня.

Стоять бы Корнею в такую пору на пшеничном загоне и со звоном оттачивать косу. Но далеко от него теперь этот загон. Судьба надолго разлучила его с родной стороной. В хату, наполненную знакомым с раннего детства приятным запахом чабреца, можно вернуть-

ся лишь в мечтах, лишь во сне можно увидеть старую мать.

А она, старая мать, наверное, стоит сейчас в цветастых подсолнухах и, прищурив от солнца глаза, смотрит вдоль запыленной улицы на дорогу: не идет ли ее сын Корней, от которого уже третий год — ни письма, ни поклона.

И Корней, приподнявшись над пшеницей, осматривает дорогу. Он лежит в дозоре — и дорога, на которой лихо кружатся степные вихри, не должна ускользать от его взгляда...

«Эх, мамо, мамо, видно, не скоро обнимешь своего сына Корнея. Много ему еще надо разрядить патронных обойм, чтобы освободить родную ставропольскую землю. Ходят слухи, что из дальних заморских стран врагам идет большая подмога. Косить пшеницу придется не косами, а пулеметами. Не дожди оросят осыпанное на загоне зерно, а горячая кровь. Может, по осени и взойдет оно, зазеленит собой истоптанные копытами и сапогами поля, только кто же их потом проборонует, если твоему сыну, мамо, пуля пробьет грудь?..»

Корнею было снова представилось, что стоит его старая мать меж цветастых подсолнухов и глядит через старый хворостяной плетень на дорогу, но тут он заслышал крик и отдаленный топот копыт. Он повел глазами вдоль горизонта и увидел четырех всадников, скачущих с оголенными шашками по некошеной пшенице. Они гнались за солдатом, изо всех сил бежавшим в сторону партизанских окопов. По красным башлыкам Корней сразу понял, что всадники — белоказаки.

Обнаруживать себя в дозоре Корнею не полагалось, но он, не размышляя, выстрелил. Он разрядил всю обойму, а солдата так и не спас.

Когда белоказаки, повернув лошадей, ускакали, Корней вылез из своей засады и, пригибаясь к земле, побежал к зарубленному солдату выяснить, кто он такой. Крепко вцепившись руками в обрызганную кровью пшеницу, незнакомец лежал вверх лицом. Удар шашки ему пришелся наискось через левое плечо и рассек гимнастерку почти до нагрудного кармана. Ни в этом, ни в другом кармане никаких документов не оказалось.

Корней хотел уже возвращаться, но тут вспомнил, как солдат, убегая, пытался что-то достать из-за пазу-

хи. Было жутковато запускать руку за окровавленную гимнастерку, но там Корней сразу нащупал четырехугольник плотной бумаги. Чутье бывалого солдата подсказало: это пакет, и он, не размышляя, не обращая внимания на то, что пакет весь залит еще не остывшей кровью, торопливо сунул его за расстегнутый ворот рубахи.

* * *

Когда Корней вошел в штабную хату, Апанасенко сидел за столом и разглядывал потертую семиверстку. Он был строг и задумчив. Его опаленные солнцем брови то высоко поднимались, то опять опускались над переносицей.

— Ты чего?—не отрывая взгляда от карты, спросил Апанасенко. — Али случилось что?

— Секретный пакет, — ответил Корней, козыряя.— Только не знаю — для нас он или другому кому...

Апанасенко удивленно сдвинул на затылок свою заломленную папаху.

— Пакет, говоришь? Откуда?

Корней пожал плечами.

— Тут история, Иосиф Родионович, — ответил он, почему-то робея, — пришлось расстрелять последнюю обойму...

И он нескладно и коротко пересказал командиру отряда, что произошло час тому назад у закурганной дороги.

Апанасенко встал, взял из рук Корнея пакет и, рассмотрев его с обеих сторон, распечатал. Корней знал, о чем он думал в эту минуту. Он думал о том, откуда и кто мог слать этот пакет. Ведь как ни широка ставропольская степь, а только в одном месте не гуляли по ней враги — это там, где стояла партизанская дивизия Апанасенко.

— Ну, что там?—не удержался Корней, когда командир развернул перед глазами письмо.

Апанасенко не ответил. Он читал. Он читал долго и внимательно. Присел у окна и снова перечитал. Было похоже, что он забыл о Корнее, о том, что тот стоит у порога и ждет. А Корней уже догадался, чего он ждет.

— Ну что там? — повторил Корней свой вопрос. — Зазря или не зазря я расстрелял последние патроны?..

И на этот раз командир не ответил. Он то садился, то вставал, охваченный странным и непонятным для Корнея волнением. Таким Корней его еще не видел.

— Слышишь, Родионович? Зазря или не зазря?

— Нет, товарищ Яковенко, не зазря, — наконец ответил Апанасенко. — За такое письмо расцеловать тебя надо.

Он задумался, потом вдруг взглянул на стену, где висела географическая карта России, и быстрым шагом подошел к ней вплотную.

* * *

Зарубленного белоказаками солдата похоронили в братской могиле на выгоне. Имя его установить не удалось, и потому на березовом цоколе обелиска ниже фамилий погибших в боях партизан вырезали слова: «Товарищ из Царицына».

Когда могилу засыпали и все разошлись, Апанасенко сел на своего белоногого дончака и уехал в степь. Его фигура долго маячила в дальнем мареве зноя. Корнею и деду Даниле, глядевшим ему вслед, иной раз казалось, что там, над хлебами, едва не касаясь крылом пшеничных колосьев, кружится степной ястреб.

Корней и дед Данило в этот час никуда не спешили. Оставшись одни у братской могилы, они угостили друг друга махоркой и, чтобы поговорить по душам, прилегли на траве.

— Чую, что-то задумал наш Родионыч, — сказал дед Данило. — Похоже, скоро в наступление перейдем.

Корней покачал головой.

— Вряд ли. У бойцов подсумки почти пустые. А без патронов... — он пригладил языком папиросу и, уже когда прикурил, вдохнул полной грудью табачный дымок, добавил с видом человека, от которого Апанасенко не намерен таить ничего:

— Тут другое, Данило Петрович. Придется нам браться не за винтовки, а за косы. В России кусок хлеба, что патрон для нашего брата. Там, Данило Петрович, голод...

— Думаешь, зерно туда пошлем?

— Да, — ответил Корней. — Дело сейчас за молотилками. Срочно нужно найти молотилки.

— Отыскать не мудрено, да вот как ты косить будешь под пулями?

— Скосим, Данило Петрович. Это не только я, так и Родионыч сказал.

Дед Данило задумчиво оглянул белеющую вдали пшеницу и тяжко вздохнул. У него давно болит сердце за эту пшеницу. Сколько зазря пропадает добра! На каждой десятине не меньше сотни пудов зерна. Да какого еще зерна! Размятый колос рассыпается на ладони янтарной дробью. Дух захватывает, когда видишь полные, крупные зерна.

На корню стоит золотое богатство, а в России людям нечего есть. Там еще весной каждый фунт хлеба делили на четверых; еще весной старший сын писал, что не может обуть сапоги на свои распухшие от голода ноги.

И все из-за этой войны. Что надо треклятой заморской Антанте на русской земле? Зачем она наползла сюда с пушками и пулеметами? Ведь ее не трогал никто. Треклятая ты, Антанта!..

Уронив на траву чубатую голову, Корней давно спал, а дед Данило все еще думал, все еще не мог отыскать на свои думы ответа...

* * *

Где пропадал Апанасенко до самого вечера, точно не знал никто, но вернулся он в хутор не один. Вместе с ним приехал Захар Остапенко — рослый и крепкий старик, с виду похожий на былинного богатыря. Войдя в штабную хату, Остапенко перекрестился и, поклонившись сидящим за столом партизанам, спокойно присел у порога на лавку.

— Все в сборе? — спросил Апанасенко начальника штаба.

— Все, — ответил Кузьма Неговора, приподнимаясь. — Все до одного...

Была привычка у Апанасенко: перед тем как начать совет, долго в молчаливом раздумье глядеть куда-нибудь в темный угол хаты. Он задумался и теперь,

но на этот раз остановил свой взгляд на противоположной стене, где висела географическая карта России.

— Так вот, товарищи командиры,— наконец заговорил Апанасенко.— Вам, наверное, уже известно, что мы получили письмо из России. У нас просят помощи... просят хлеба.

Все молчали.

— Хлеба нам, Родионыч, не жаль,— первым откликнулся один из партизанских командиров.— Его вон сколько. Да скажи, как мы его туда отправим? Как мы пошлем этот хлеб в Россию? Ведь ты сам знаешь... Железная дорога перерезана чуть не в десяти местах, а Каспий далеко, да и вряд ли там найдутся буксиры и баржи.

— Что правда то правда,— подтвердил Кузьма Неговора, вздыхая.

— Н-да...

— Конечно, была бы дорога...

— В том-то и дело, что нет такой дороги...

Апанасенко выждал, пока уляжется поднятый командирами гомон, и встал. И опять остановив свой взгляд на противоположной стене, громко сказал:

— Есть дорога, товарищи. Хлеб повезем гужом, напрямик... На Царицын.

Напрямик? На Царицын? Неужто Родионыч всерьез? Да разве можно одолеть шестьсот бездорожных верст? Там же одни лишь овечьи тропы. На пути — ни озер, ни прудов, ни колодцев, а за Зурматинскими перевалами — сплошные пески. Да и время какое. Хлебный обоз в любой час могут перехватить бандиты. А если проведают о нем кадеты?

— Знаю,— спокойно проговорил Апанасенко, когда в хате вновь наступила тишина.— Все знаю, товарищи. Может, многие не дойдут до Царицына, погибнут, но те, которые останутся живыми, должны добраться до цели любой ценой. Ты слышишь, Остапенко?

— Слышу, Иосиф Родионович!

Все оглянулись и поняли: как бы там ни было, как бы ни пришлось, чтобы ни случилось в пути, хлебный обоз пойдет прямиком на Царицын. И поведет его этот сидящий у порога белобородый старик. Вот это выбор: до чего ж наметан у Апанасенко глаз.

* * *

Захар Остапенко был одним из тех людей, которые служили революции от чистого сердца. Никто не звал его в партизанский отряд, он пришел сам, пришел потому, что не мог равнодушно смотреть, как льется за великую правду батрацкая кровь.

Первый, кто это понял, был Апанасенко. А поняв, подумал: вот кого надо беречь. Такой не подведет, такому можно доверить все...

И вот, когда Апанасенко начал искать человека, который сумел бы провести обоз через астраханскую степь, он раньше всего подумал про Захара Остапенко.

Взамен Остапенко не найти никого. Так, как знал астраханскую степь этот старик, не знал ни один партизан. Он исходил ее всю, от края до края. Там, в астраханской степи, среди перелогов и балок, прошла его молодость, там он состарился и поседел. Тридцать три года он пас овечьи отары помещика Курдыбана и за все эти тридцать три года ни разу не плутал, ни разу не пропадал без вести. Бураны порой угоняли его со шпанкой далеко за Маныч, но даже там, на полынных просторах Приволжья, он не терял направления, не сбивался с пути.

Апанасенко был уверен — Остапенко не собьется с пути и теперь.

Но сам Захар, прежде чем ответить на предложение Иосифа Родионовича, долго стоял перед ним в глубоком раздумье. Нелегкое дело должно лечь на его старые плечи. Хватит ли у него сил для этого великого дела? Что, если не хватит? Не очистить тогда ему своей совести перед народом. Люди проклянут его имя.

* * *

О возвращении лазутчиков генералу Гляссу доложили в предбаннике, когда он, исхлестанный березовым веником, прилег на мягкую бурку, чтобы немного остыть и отдышаться.

— Дать по стакану водки! — крикнул генерал из белого облака пара. — И привести сюда.

Приказ был исполнен тотчас. Уже через десять минут два лазутчика стояли навытяжку перед нагим

генералом и докладывали, что происходит по ту сторону партизанских окопов.

— Так, говорите, жнут пшеницу? — переспросил генерал, растирая ладонями свое длинное, как оглобля, тело. — И много уже сжали?

— Десятин пятьдесят, — ответил один из лазутчиков. — В балке, что за курганом, — три молотилки. Всю пшеницу свозят туда...

— А зерно?

— Зерно ссыпают в мешки и складывают на подводы.

Генерал тронул рукой свой высокий и строгий лоб. Теперь ему было понятно все. Неприятель приступил к уборке пшеницы.

— Идите, — сказал он лазутчикам и, когда те ушли, обдав его парующей волной прохлады, приглушенно охнул от внезапно возникшей боли в сердце.

С той поры, как Глясс пришел со своей казачьей дивизией в ставропольские степи рассеять партизанский отряд Апанасенко, минул год. Целый год ждет от него доброй вести Деникин, а он, генерал Глясс, еще ни разу не порадовал старика. Прапорщик Апанасенко со своим мужичьим отрядом оказался куда сильнее, чем предполагали в штабе «добровольческой армии». На предложение сдаться без боя он ответил письмом, напоминающим ответ запорожцев турецкому султану. На всякий оперативный маневр сейчас же следовал контрманевр, отчего разлетались в прах все планы.

Пока молчит Деникин, но если узнает, что партизаны словчились убрать урожай, не ждать добра тогда Гляссу. Ведь об этом урожае Деникин напоминал еще в начале лета; еще тогда главнокомандующий приказал уничтожить на Ставрополье все посевы. Генерал Глясс помнит — Деникин писал: «В руки противника не должен попасть ни один фунт пшеницы. В Совдепии назревает голод, и надо приложить все силы к тому, чтобы как можно быстрее он перехватил ей горло своей костлявой рукой».

А лазутчики не обманули: третьего дня, во время объезда позиций, Глясс сам наблюдал какое-то движение над дальними хлебами. Полуденное марево не дало разглядеть, что там происходит, но те прокосы, ко-

торые вдруг пролегли через нивы, уже тогда заставили насторожиться.

Да, теперь было все ясно. Но все ли? Ох, нет, не все. Почему партизаны хлеб ссыпают в мешки и грузят на подводы? Уж не думает ли Апанасенко... Не думает ли он отправить это зерно в Царицын? На север ему дорога открыта.

— Да, да, — уже вслух говорил генерал, натягивая на себя пропахшие конским потом брюки. — Это так. В этом теперь не может быть никакого сомнения...

На свою штаб-квартиру Глясс чуть не бежал. Встречные казаки едва успевали стать перед ним во фронт.

— Зеуса, вызвать полковника Зеуса!

Через час полковник Зеус стоял перед генералом, держа руки по швам. Это был самый опытный и самый смелый полковник в дивизии, уже немолодой, уже видавший виды, уже понявший, что от расплаты ему не уйти, и потому всегда готовый на что угодно...

Выслушав генерала, полковник Зеус приложил руку к виску и звонко ударил шпорой о шпору. Будет исполнено!

* * *

До чего же было приятно в эти ночи работать на току. В гуле молотилки, окутанной белым облаком пахучей пшеничной половы, казалось, что наступила мирная жизнь. Шуршала солома, шелестели приводные ремни, звенели лопаты и ведра — все такие знакомые и милые для крестьянского сердца звуки. Когда приходилось пересыпать на ладонях очищенное зерно, голова кружилась от счастья — хотелось запеть, и запеть такую веселую, громкую песню, чтобы эхо раскатилось по всей степи.

Вот почему никто не удивлялся, когда на току возникала знакомая фигура командира дивизии. Апанасенко сбрасывал с себя шашку, планшет и бинокль, брал в руки вилы и начинал кидать снопы на полок. Видно, и ему хотелось вспомнить мирную жизнь...

И все же не за тем приезжал на ток Апанасенко. С той поры, как в степи началась уборка пшеницы, он, кажется, и не спал. Он не сомневался, что генерал Глясс уже разгадал намерение партизан, и потому заставлял всех спешить, не терять на работе ни одной

минуты. Надо было опередить Глясса, отправить хлебный обоз раньше, чем его «дикие» эскадроны перережут дорогу на север.

* * *

Был Корней простым деревенским парнем, но хорошо понимал, зачем позвал его Апанасенко в свой партизанский отряд. Иосиф Родионович позвал его, чтобы сражаться за Советскую власть, самую справедливую власть на земле. После победы Корней больше не пойдет к кровопийце Зеусу пасти гурты. После победы он вернется в родную Митрофановку уже другим человеком. У него будет свое право на счастье.

Здорово пригодились ему те патроны, которые он принес с германского фронта. С того дня, как началась на Ставрополье война, он сбил с седла двенадцать белогвардейцев. Двенадцать заклятых врагов революции так и не доскакали до партизанских окопов, свалились с седел на степной солончак.

Но победа еще не пришла, а в подсумке у Корнея уже не осталось ни одного боевого патрона. Враг еще не разгромлен, а у Корнея — разряженная винтовка. Грянут белогвардейцы в атаку, а он, Корней Яковенко, не сможет послать им навстречу даже одной пули.

Не сможет Корней и пойти с обозом в Царицын. Его не возьмут, не захотят внести в список конвоя.

Нет, он должен что-то придумать, на что-то решиться. Патроны он обязан достать. Без патронов ему жизнь — не жизнь, без патронов он не может...

В тот день Корней пришел к Апанасенко.

— Скажи, Родионыч, что мне теперь делать? Чем я теперь буду стрелять по врагам революции?

— Патронов в отряде нет, — ответил Апанасенко, — и помочь тебе ничем не могу. Попробуй их достать сам...

— А где же я их достану, когда у каждого они на счету?

— Неверно. Кое у кого патронов сколько хочешь.

— У кого? — обрадованно воскликнул молодой партизан.

— У врага.

Корней оторопел. Он понял, что думал его командир.

* * *

Была ясная лунная ночь. Залитая серебристым сиянием степь казалась безлюдной до самого горизонта. Налетал ветер и травы, будто испуганные кем-то, шумно клонились долу. Из-под ног то и дело взлетали перепела, жаворонки и куропатки. Откуда-то из ближней балки доносился тоскующий крик филина и волчий вой.

Сдерживая нервную дрожь, Корней миновал то место, где казаки зарубили посланца из Царицына, и, крадучись, вышел на проселочную дорогу. Она была пустынна. По ней лишь гуляла пыль да прыгали круглые кусты курая.

И тут Корней впервые за всю свою партизанскую жизнь позавидовал белогвардейцам. Уж раз они не жалеют патронов, значит, им незачем выходить на эту ночную дорогу с ножом за голенищем. Им незачем рисковать головой ради одной, только одной боевой обоймы.

Позавидовал, но так и не понял, откуда у врага столько патронов.

До полуночи крался Корней по-над взволнованной шумливой пшеницей. Его настораживал каждый необычный шорох колосьев, каждый хруст былинки. С неведомой самому прежде решимостью он оглядывался вокруг и ждал. Ждал встречи.

Она произошла в терновнике уже на той стороне пшеничного загона. Огромный детина в черной казачьей бурке вырос перед Корнеем, словно из-под земли. Учуяв неладное, белогвардейский дозорный перехватил карабин наизготовку и спросил:

— Кто такой?

— Свой, — ответил Корней, стараясь подойти к врагу ближе. Заплутал...

— Ишь, заплутал. А ну-ка, подними, хлопец, руки. Кому говорю!

Не ему бы, беззаветному воину революции, поднимать перед врагом руки, но иного выхода не было.

Нож лежал уже не за голенищем, а в рукаве рубахи. Только бы еще один шаг вперед, еще бы стать поудобнее для прыжка на врага. Но будь что будет!..

...Удар ножа пришелся чуть выше ключицы, и белогвардеец, даже не охнув, не застонав, выронил из

рук карабин и свалился в бурьян. Все совершилось так, как было загадано, и Корней, чтобы не терять времени, тут же, еще не зная, убил ли он белогвардейца или только ранил, торопливо зашарил руками вокруг его поясницы. Патроны! Корнею нужны были патроны, только патроны!

Он нащупал их под бедром, в подсумке из плотной шершавой кожи. Обоймы лежали одна к одной, пулями вниз. Семь, восемь, девять, десять — целых двенадцать обойм, на удивление еще не просохших от заводского масла.

Робко озираясь, Корней поспешно рассовал обоймы по карманам и, выждав, пока белесое облако чуть прикроет луну, пригнулся и побежал назад.

Уже занимался рассвет, когда Корнея окликнул партизанский дозор. Узнав, где он был, трое знакомых хлопцев похвалили его за такое геройство, но, когда он предложил им как подарок взять по обойме, весело рассмеялись.

— Чего скалите зубы? — спросил Корней.

— А ты погляди-ка лучше на эти обоймы...

Корней подставил под свет луны еще не тронутые ржавчиной, чистые, как монеты свежей чеканки, трофейные патроны и похолодел. Они оказались английского образца.

* * *

Тихо и пустынно в осенней степи. Куда ни взгляни, — перевалы да балки, ковыль да курай, марево да горизонт. Нигде ни души. Изредка дорогу пересечет лисица, пролетит над головой степная чайка — чибис, покружится раз-другой вихрь-круговорот. Иногда проплывет перед глазами радужная паутина, проскользнет по земле тень от затерявшегося в небе одинокого облака. Степь как бы застыла в молчаливом и грустном раздумье, как бы затосковала о пролетевшей летней поре.

Тихо и пустынно.

Но вот откуда-то из балки до слуха задремавшего на кургане орла долетел загадочный шум. Орел настороженно вытянул шею. Крылья дрогнули на его лохматой спине, когти впились в землю еще сильнее.

А шум нарастал, приближался. Степь наполнялась им все шире и шире, вздрагивая и гудя.

Орел взмахнул крыльями и взлетел, и почти в ту же минуту в ста шагах от кургана появился рослый и широкоплечий старик с винтовкой через плечо. Седая его борода издали напоминала ковыльный сноп. Прикрыв ладонью глаза, он оглядел золотисто-блестящую, залитую солнцем степную равнину и, видимо, убедившись, что путь свободен, махнул рукой.

Путь был свободен до самого небосвода, и вскоре за спиной человека со звонким стуком и скрипом стали выезжать на откос нагруженные мешками подводы. Они потянулись из скрытой в бурьянах низины бесконечной лентой — одна за другой, запряженные лошадьми. Рядом с ними шагали люди — молодые и старые, одетые кто в шинель, кто в овчинную безрукавку, кто в простой крестьянский пиджак. У каждого за плечами висела короткая кавалерийская винтовка, на ременном поясе болтались фляжка, котелок и самодельные гранаты из мятых консервных банок.

Уже давно растаял в небе степной орел, а подводы все ехали и ехали, скрипя немазаными колесами. Уже на целую версту растянулись они по степи, а в низине все ещё не стихал шум движения.

Захар Остапенко вел обоз напрямик. Нелегкий был это путь, но обоз шел безостановочно, шел и шел, оставляя позади версту за верстой. В полдень четвертого дня скрылись из глаз последние хутора Ставрополья. Неотличимы от неба и марева стали и Зурматинские перевалы.

Но чем дальше отходили назад родные края, тем ехать становилось тяжелее и тяжелее. Твердый солончаковый грунт постепенно перешел в сплошной сыпучий песок. Выбившись из сил, кони останавливались через каждые сто саженей. То и дело рвались постромки, ломались барки. Колеса утопали в песке по самые ступицы, — и порой, чтобы сдвинуть с места нагруженную мешками подводу, приходилось налегать плечами на рундуки до хруста, до ломоты в поясницах.

У Зурматинских перевалов обоз обстреляли. Чьи это были пули, Захар Остапенко не разгадал, но, чтобы запутать следы, в ту же ночь круто свернул на северо-восток. Потом, не доезжая до Муссахаджинского кургана, пошел на северо-запад и только у Сыпучей балки, где когда-то он едва не погиб со своей ота-

рой от налетевшего бурана, снова взял прямое направление на Полярную звезду.

На эту ярко горевшую в небе звезду ему указал Апанасенко: она горела как раз над Царицыном. И то место, где воображаемая черта, скользнув через звездное небо, упиралась в землю, стало для Захара заветным... Стало его главным ориентиром.

* * *

Полковник Зеус поджидал обоз за разрытыми курганами невдалеке от Соленых колодцев. Он был уверен, что старый Остапенко не найдет иного пути. И слева и справа от Соленых колодцев лежала вся в песчаных наносах, непроходимая даже для овечьей отары Сыпучая балка.

Но шли дни, а обоз не появлялся. Вернулся ли он назад или свернул куда-нибудь в сторону, никто не знал. Высланные во все концы разъезды нигде его не обнаружили. Старый Остапенко словно провалился сквозь землю.

Догадываясь, что обоз пошел напрямик через Сыпучую балку, Зеус оставил один эскадрон у курганов, а с другими скрытно передвинулся немного влево, в заброшенные овечьи кошары. Эти кошары стояли на выходе из балки, так что, если обоз пошел напрямик, он миновать их не мог.

Но Остапенко словно провалился сквозь землю...

«Ну, нет,—думал Зеус,—ты от меня не уйдешь». И приказал эскадрону расположиться в кошарах на многодневный постой.

Прошло двое суток, и вдруг к Зеусу вошел адъютант и доложил, что казаки, которые остались в засаде у разрытых курганов, поймали одного партизана. После того как его взяли в плети и шомпола, удалось узнать, что это один из конвойных обоза. В расположение казачьей засады он пробрался якобы для того, чтобы достать карабин английского образца.

— Немедленно доставить его ко мне!—обрадованно крикнул полковник.—Я сам его допрошу...

Через час в кошару втолкнули связанного чересседельником плечистого парня. Зеус долго рассматривал его разбитое в кровь лицо, силясь припомнить, где ему доводилось видеть этого партизана.

А парень сказал, усмехаясь:

— Что, не узнаете, ваше благородие? У вашего папаши...

Зеус покрутил смоляной ус. Он вспомнил. Этого парня он видел в имении своего отца. До войны Корней Яковенко пас у них гурт скота.

— Что ж, браток, — сказал Зеус, — карабин я тебе дам, если скажешь, куда скрылся Остапенко. А не скажешь — повешу. Тут же... вон на той перекладине.

Корней не спеша вытер плечом кровь со своей рассеченной щеки и в молчаливой тоске посмотрел туда, куда указал ему Зеус. Он понял: отсюда ему не уйти. Понял и вздрогнул.

Но не от мысли о смерти вздрогнул Корней Яковенко — смерть уже не раз заглядывала ему в глаза. Он вздрогнул от другого — Захар Остапенко идет сюда, не подозревая о том, что здесь затаилась белогвардейская засада.

— Даю на раздумье пять минут, — с угрюмой угрозой сказал Зеус, взглянул на часы, — если через пять минут не скажешь...

И кивнул головой адъютанту, чтобы приготовил веревку.

...Горячий набат в висках не дал Корнею расслышать то, что сказал ему Зеус, но он понял. Он понял, что жить на свете ему осталось только одну минуту. Через минуту его вздернут под крышу, и тогда уже ничто не предотвратит великой беды. Обоз будет разгромлен, и пшеница, та самая пшеница, которая должна спасти тысячи голодных людей, смешается с кровью и сыпучим песком.

— Ну? — теряя спокойствие, крикнул полковник.— Я жду...

Бывает, идешь по ночной степи — и вдруг из-под ног взовьется птица. Охваченная тревогой, она взлетает почти вперевертъ, но потом, когда почувствует под крыльями свободу и высоту, спокойно улетает куда-нибудь вдаль.

Вот так же, как эта птица, встрепенулась в сознании Корнея одна смелая мысль. Встрепенулась и взлетела, мгновенно завладев всем его существом. Он скажет, что обоз стоит в пятнадцати верстах от этих кошар, и, если будет дарована жизнь, согласится на то,

чтобы указать к нему тайные тропы. Корней уведет белогвардейцев куда-нибудь на восток, как можно быстрее и как можно дальше от этого места. К тому времени, когда полковник разгадает обман, обоз уже минует кошары и скроется за перевалом, никем не замеченный.

— Развяжите меня, — сказал Корней, уклоняясь от петли, которую ему пытались набросить на шею.— Развяжите, я все расскажу... Только уж ежели...

— Что ежели?

— Уж ежели ехать, но надо немедля. Обоз не пойдет сюда, а если он тронется, тогда не ручаюсь...

— Не врешь?

— Какой же мне расчет?..

Полковник поверил. Корней это понял сразу и чуть отступил: ему показалось, что Зеус мог услышать, как вдруг застучало от ликующей радости сердце.

Сборы были недолги. Корней еще не допил из стакана хмельной заморский напиток, а у кошары уже стояли построенные в походный порядок казаки. Их оказалось немного, но по тому, как они нетерпеливо сдерживали лошадей, было видно, что это отборные удальцы. Для того, чтобы уничтожить хлебный обоз, генерал Глясс не пожалел бросить в пески своих лучших рубак.

Корнея пропустили вперед и приказали идти, не оглядываясь, не замедляя шаг. Идти как можно быстрее. И, боже сохрани, заплутать, сбиться с прямого пути.

И Корней пошагал, не оглядываясь, не замедляя шаг. Звезды горели перед его глазами, как дальние костры чабанов. Роняя холодные капли дождя, наискось через небо летела огромная лохматая туча. С верхушек песчаных курганов срывался ветер, он нес навстречу песок и с шелестом гнал целое стадо давно иссушенного зноем курая.

Начинался шурган, а Корней, как и прежде, не замедлял шаг...

Его окликнули и остановили уже невесть где, он и сам не знал где. А когда окликнули и остановили, в последний раз взглянул на ту звезду, которая горела над заветным Царицыном, и под ударами шашек свалился на холодный песок.

* * *

Молчалива и задумчива степь в полуночную пору. Ее простор уже не кажется таким привольным, как днем. Будто страшась одиночества, курганы смыкают склоны и отходят от горизонта. Да и сам горизонт становится ближе. Если впереди нет увала, небо встает над землей в ста шагах. Тот бурьян, что чернел в ста шагах, шумит и качается меж предутренних звезд.

Пустынно. Ничто не нарушает покой этого далекого края. Даже тогда, когда разгуляется ветер, не учуешь признаков жизни. Шелест трав — все-таки это не жизнь.

Но вот невдалеке от кургана что-то зашуршало в бурьяне. В темноте мелькнули две яркие искры, и почти тотчас на фоне неба вырос волк.

Волк робко взошел на курган. Огненным взором он окинул темное молчание балок и настороженно взвел свои острые уши. Оттуда, где он учуял запах овечьих кошар, что-то ползло...

Оно ползло напрямик, шумливое и огромное, таща за собой желтый шлейф песчаной пыли. Подобного бурунная степь еще не видела и не слышала никогда.

Волку стало страшно. Он поднял вверх свою голову и тоскливо завыл. Потом вдруг, словно опомнившись, бросился наутек.

* * *

Осень в степи угадывают по звону цикад. Цикады первые улавливают ее дыхание и оттого как-то сразу свою бесконечную песню перестраивают на уныло-тоскующий лад. Никого не радует эта песня — каждый, кто прислушивается к ней в тихую вечернюю пору, невольно становится угрюмо задумчивым и долго молчит, устремив свой опечаленный взгляд куда-нибудь вдаль.

Осень. Будто еще и не было лета, а уже осень. Осень в степи, осень на сердце.

Где-то высоко над головой летят журавли. Их не видно, слышно лишь, как они курлычут, переговариваясь меж собой. Счастливого пути вам, вольные птицы! Если доведется лететь через село Митрофановку, передайте...

...Передайте старой Яковенчихе, чтобы она перестала выглядывать на дорогу. Сколько бы она ни стояла у плетня меж подсолнухов, прикрыв от солнца глаза, все равно не увидит родимого сына.

Нет у нее больше сына.

* * *

Не дождавшись возвращения Корнея, Остапенко не решился идти через Соленые колодцы. Он угадывал, что разведчика схватила белогвардейская засада, и, чтобы обойти эту засаду, повел обоз через пески Сыпучей балки.

— Ох, не проедем, Захар Иванович. Ты посмотри, что делается под колесами...

Остапенко протер ладонью запорошенные глаза и с тревогой посмотрел на утонувшие в сыпучем песке колеса. В словах головного подводчика таилась правда, но признать ее было страшно.

Подвода остановилась. Одновременно с ней приостановился весь обоз. Сотни груженных зерном телег застыли, как по команде.

— Захар! — доносилось оттуда. — Ты слышишь, Захар!

Остапенко сделал вид, что ничего не слышит. Он знал, зачем так настойчиво зовут его в хвост обоза. Там хотят сказать то же самое, что сказал ему головной подводчик.

Чтобы не свалиться от смертельной усталости, Захар прислонился спиной к оглобле и тяжко задумался. С тех пор как он распрощался с Апанасенко, прошел уже месяц. Целый месяц напролет, дни и ночи, почти без передышки движется хлебный обоз на север, а впереди все та же бесконечная равнина песчаной пустыни. За перевалом возникает новый перевал, открывается новая линия горизонта — такая же пустынная и далекая, как и за спиной. Песчаные гребешки все бегут и бегут вдаль, от одного небосвода к другому, на десятки новых, еще не пройденных верст.

А сзади кричат. Там кричат потому, что уже выбились из сил. Люди и кони едва передвигают ноги. Вчера ночью в подводы пришлось подпрягаться партизанам. Многие от усталости свалились на землю. Да и сам Захар уже не в силах был разогнуться, сам

стоял на ногах лишь потому, что держался за деревянный рундук подводы.

Тяжело, но о возвращении не могло быть и речи. На подводах лежала пшеница, которую ждали тысячи людей, ждали красноармейцы, женщины, дети.

— Захар! Да что же ты не откликаешься? Неужто не слышишь, не видишь?

И слышал и видел Остапенко, но не оглядывался на этот крик. Обоз будет идти, идти до тех пор, пока не покажется перед глазами Царицын.

* * *

...И вот оборвались пески, и на пути открылась солончаковая степь. Впервые за долгие дни люди и кони почувствовали под ногами твердую землю. Впервые за всю мучительную дорогу застучали и зазвенели колеса.

Подводчики и партизаны радовались, как дети.

Но радость была недолгой. Вскоре подул ветер. Он поднял в воздух тучи полынной пыли. Эта пыль оказалась во много раз страшнее, чем сыпучий песок. Нечем стало дышать. Вместо воздуха в грудь врывалась удушающая отрава. Тяжкий кашель не прекращался ни на минуту, доводя до конвульсий. Глаза у людей налились кровью, руки и ноги распухли, тело покрылось кровяными болячками. Горьким стало все: и хлеб, и варево, и вода.

— Когда все это кончится? — спрашивали Захара.

Остапенко не отвечал. Он знал, что песок и полынная пыль — это еще не все испытания. Главное испытание впереди. Не без причины на горизонте то и дело кружатся ястреба. Ястреба чуют кровь издалека, за много часов до того, как она прольется на землю...

Остапенко не обманулся. Казаки появились в степи подобно тени от облака и сразу подобно той же тени понеслись через увалы и балки наперерез обозу.

Не привыкать было Захару к неравному бою, но в это мгновение он почувствовал, как словно что-то оборвалось под его дрогнувшим сердцем. Все, что досталось такой дорогой ценой, сейчас могло пойти прахом. На семьдесят пять человек обозного конвоя шло не менее двух эскадронов конницы.

Медлить нельзя было ни одной минуты, но Остапенко медлил. Он не знал, что делать. Казаки приближались, а он стоял у подводы, не находя сил сдвинуться с места, скинуть с плеч карабин.

И вдруг до слуха Захара долетел голос подводчика. Мирный крестьянин, который, казалось, глядит на все с немым безразличием, гневно сказал:

— Ну, нет! За что другое, а за пшеничку свою постоим...

Захар вздрогнул и удивленно посмотрел на худое, заросшее ржавой щетиной лицо подводчика. Он был потрясен: укрывшись за мешками, как за бруствером, подводчик уже брал на мушку своего охотничьего ружья скачущего прямо на них белоказака.

Захар выпрямился — разогнула какая-то новая сила, хлынувшая в его тело,— выпрямился во весь рост и закричал, поднимая руку:

— К бою, товарищи!

* * *

Где же тот Царицын? Уже давно потерян счет пройденным верстам, а он все не появляется на горизонте. Не дай бог, если до него еще далеко. Откатившиеся назад после дружного пятикратного залпа эскадроны полковника Зеуса опять готовятся к атаке, а у конвойных обоза не осталось ни одного нерасстрелянного патрона.

Остапенко отвел от туманного горизонта глаза и в тяжелом раздумье снова прилег за устроенное из мешков боевое укрытие. Моросил мелкий обложной дождь. Из дыр в верхнем мешке, проделанных вражескими пулями, с тихим шелестом текли струйки зерна. Казалось, туча роняет на землю вместе с дождем пшеничные зерна.

— Опять, гады, начали,— угрюмо сказал подводчик.— Говори, Захар, что будем делать?

Прикусив губу, Остапенко приподнялся на локтях и с тревожной тоской посмотрел в степь. На этот раз противник шел в атаку в пешем строю. Казаки продвигались вперед не торопясь, то залегая, то снова поднимаясь во весь рост.

Невдалеке от головной подводы треснул револьверный выстрел. Остапенко повел туда рассеянным

взглядом и горько усмехнулся — он сразу понял, что там произошло: кто-то из малодушных все же сумел приберечь для себя последнюю пулю.

А противник подходил все ближе и ближе. Еще минута, другая — и враг захлестнет редкую цепь партизанских бойцов.

— Захар! Чего же ты молчишь?

Остапенко не откликался. Что он еще мог сказать, кроме того, что уже сказал. А сказал он почти каждому: биться до последней капли крови. Патронов нет, так есть штык. Штыком отбивать врага от обоза, а если сломается штык, пускать в дело приклад. Приклад разлетится в щепки — бросаться на врага с оглоблей или люшней, но стоять, стоять насмерть...

...И вдруг колыхнулась степь, и где-то за бурьяном зародился глухой грохот. Он пронесся над обозом яростным раскатом и взметнулся над рядами противника фонтаном земли и огня. В ту же минуту на левом фланге разом застучало несколько пулеметов, рассыпанной дробью захлопали ружейные выстрелы. Потом снова ударила неведомая батарея.

— Матросы! —раздались громкие голоса партизан.— Глядите... против белых пошли в атаку матросы.

— Какие матросы?

Остапенко выпрыгнул из укрытия и огляделся. Он не знал: верить своим глазам или нет. Над степью клубился туман, и сквозь туман наперерез белоказакам шла цепь матросов.

Ликующий крик радости вырвался из груди Захара Остапенко. Он понял все и высоко поднял над головой винтовку, чтобы приветствовать скрытый в ближнем тумане город Царицын.

РОДНЫЕ ПОЛЯ

Он не стал дожидаться подводы. Ему захотелось пойти пешком — и он ушел, оставив чемоданы у начальника полустанка.

Стоял июль — пора зрелого колоса,— и шагать довелось мимо высокой пшеницы. Она скрывала от взора знакомые с детства дали и погружала в приятное чувство одиночества. Одиночество среди знакомого шелеста

зрелых хлебов — для старого хлебороба как счастье, и путник, радуясь этому счастью, бодро шагал по проселку, то и дело срывая и разминая на диво богатые янтарным зерном колосья кубанки.

Он шагал по проселку и снова, уже в который раз, мысленно переносился в родную хату. Он не войдет в калитку, он перелезет через плетень и, если узнает его Полкан, затаится в сенях. Он будет стоять там до тех пор, пока мать не выйдет из хаты, и только тогда переступит желанный порог. Все должно произойти нежданно-негаданно, с той же изумленной радостью, как это было одиннадцать лет назад.

У кургана, поднявшего свою ковыльную вершину над жёлтым морем пшеницы, путник остановился и долго оглядывал окрестную степь. Он вспоминал. Когда-то на этом месте его партизанский отряд слетелся на рубку с белогвардейской конницей. Теперь трудно все вспомнить, но еще помнится первая минута атаки. Шашки зазвенели, как косы на артельном покосе. Земля загудела и застонала, а обрызганная кровью полынь заиграла на солнце, будто дикий мак в весенние дни. Пшеницы в ту пору здесь не было, и, когда удалось врага опрокинуть, рыли могилу для павших товарищей среди голой, безлюдной степи.

Видно, не легко забыть те грозные дни: грудь путника приподнялась и опустилась от вздоха. Он достал портсигар и закурил, задумчиво оглядывая прищуренным взглядом окрестную степь.

Но вот путник поднял брови и прислушался. Со стороны покинутого им полустанка, мирно поскрипывая колесами, ехала телега. Над золотисто-блестящей равниной пшеницы медленно плыли бычьи рога и темно-синий околыш фуражки подводчика.

— Цоб, лысый. Цоб!

Голос у подводчика показался знакомым, и путник решил выждать, пока тот подъедет к нему вплотную. Сойдя с дороги, он присел под навес волнуемых ветром колосьев и снова прислушался. Вспомнить бы, где ему доводилось слышать этот звонкий и бодрый голос и почему он вдруг навеял на него непонятную грусть.

Наконец подвода подъехала, и путник, чуть привстав, удивленно взглянул на рундук. Там, на рундуке, свесив над дышлом босые загорелые ноги, сидел дере-

венский парнишка. Чей он, спрашивать было не надо: у него были те же брови, те же кудри и тот же слегка прищуренный взгляд карих глаз, что у его родного отца. А отец его умер как раз под этим курганом, бросившись один на десятерых, чтобы спасти жизнь раненого командира отряда!

— Не подвезешь ли? — сказал путник, улыбаясь.

— А чего ж,— весело крикнул парнишка,— садись. Только я сверну скоро.

— Это куда ж?

— На ток колхоза имени Апанасенко. А вы, небось, в Митрофановку?

Путник, как бы в раздумье, тронул рукой левую бровь.

— Да, я в Митрофановку,— ответил он и, опершись руками о колесо, легко вскинул себя на деревянный рундук телеги.

* * *

Когда молотилка снова зазвенела пустыми решетами, Сидор Иванович махнул рукой и ушел к дальним скирдам, чтобы найти председателя. Инспектор по качеству хотел потребовать перевести комсомольцев на другую работу.

Узнав, что задумал Сидор Иванович, бригадир комсомольской бригады Сенька Коржик сам решил стать у барабана. Уж если на то пошло, он оборвет себе пальцы, но не допустит холостого хода. Та скирда, которая стоит на току, к рассвету должна исчезнуть.

— А ну-ка, поддай!

Шумно зашелестев сухими колосьями, четыре снопа один за другим взлетели на полок задавальщика. Сенька подхватил их и заработал руками, будто вступил в кулачный бой. Барабан взвизгнул и захлебнулся — в его переполненный стальными зубами рот легко и свободно понесся поток зрелой пшеницы.

— Наддай!

Час пролетел для Сеньки, как одна минута. Радуясь бесперебойной работе молотилки, юноша весело покрикивал на стоящих внизу подавальщиков. Когда те заваливали его снопами, он со смехом зажмуривал глаза и отряхивался от колосьев, как от водяных брызг,

Все шло хорошо до самого заката. Но когда зашло солнце и над током спустились вечерние сумерки, внутри молотилки вдруг снова зазвенели пустые решета. Сенька вскинулся и с прежней горячностью заработал локтями, но звон решет не заглох. Наоборот, он ширился и нарастал и вскоре целиком завладел молотилкой.

И тут, наконец, Сенька понял, как прав был Сидор Иванович, когда требовал ввести в состав комсомольской бригады Матвея Завражного. Матвей Завражный считался лучшим задавальщиком в колхозе. Он задавал пшеницу в барабан еще тогда, когда ставропольские партизаны молотили хлеб для осажденного Царицына. Сенька выбился из сил на третьем часу, а Завражный, как рассказывают старики, выстаивал у барабана напролет целыми сутками. И за целые сутки никто не слышал, чтобы зазвенели на току пустые решета.

— Чепурнов! — крикнул Сенька, взглянув через плечо на только что подъехавшую к молотилке подводу в бычьей упряжке.—Беги к Сидору Ивановичу и скажи...

Сенька не договорил. Помост, на котором он стоял, скрипнул и зашатался. В то же мгновение кто-то подошел вплотную и сильной крепкой рукой отстранил его от барабана. Сенька оглянулся, но в сумерках вечера не узнал этого человека. А был он росл и широкоплеч и одет в красивую военную форму.

— А ну, дай-ка я...— басовито сказал незнакомец, обматывая тряпкой кисть руки.— Дай-ка я, ты отдохни.

И не дожидаясь, что ответит на это молодой бригадир, подхватил сноп и приник с ним к гремящему в темноте барабану.

И едва лишь приник, все загудело вокруг с такой силой, что сразу не стало слышно ни звона решет, ни голосов подавальщиков.

* * *

Он не сошел с помоста, пока не исчезла скирда пшеницы. И только тогда, когда подгребли на том месте все колосья, отряхнулся от пыли и разогнул свою почерневшую от обильного пота спину.

В тот час уже рассвело, и хорошо можно было различить лица людей. Все они были для него незнакомы, но он легко угадал, где чей сын, и спрыгнул с помоста,

чтобы сгрести в охапку для радостных поцелуев давно подросших детей своих боевых побратимов.

ПРАПОР

Гей, хлопцы, а не время ли нам снять со стен свои заржавевшие шашки и, отточив их до блеска, идти Родионычу на подмогу? Враг дошел уже до Днепра и, если мы будем долго раздумывать, может дойти до нашей пшеницы. А наша пшеница уже побелела, уже зазвенела зрелым колосом по всему Ставрополью!

Время, хлопцы!

И по всему Ставрополью, по всем его пыльным дорогам, вдоль высокой пшеницы, поскакали усатые всадники. Там, на западе, в багровом дыму сражений им надо было найти старого командира и вновь, как в те далекие годы, ринуться следом за ним в лихую атаку.

* * *

«...Я старый солдат русской армии. Четыре года войны империалистической, три года гражданской. И сейчас на мою долю счастье воина выпало — воевать, защищать Родину. По натуре хочу всегда быть впереди. Если мне будет суждено погибнуть, прошу хоть на костре сжечь, а пепел похоронить на родном Ставрополье...»

Карандаш сломался. Красный осколок скользнул через исписанный листок бумаги и упал на пол.

Генерал задумчиво оглядел блиндаж и, убедившись, что все спят, не спеша расстегнул нагрудный карман суконного кителя. В руках его заалел партийный билет. Вдвое сложенная записка оказалась немного больше формата обложки партийного билета, и генерал сложил ее вчетверо. Вот и порядок. Если и в самом деле в предстоящем бою суждено будет умереть, товарищи найдут и прочтут эту записку непременно.

Где-то недалеко один за другим разорвались три тяжелых снаряда. Блиндаж вздрогнул и, скрипнув накатами, стряхнул на спящих вповалку людей пыль и песок. Земля застонала и пошатнулась.

— Спи, спи,— сказал генерал потревоженному грохотом солдату и снова наклонился над дощатым столом. Пламя керосиновой лампы осветило его загорелое, обветренное лицо. Он еще не стар, но на висках, видно, уже давно блестит серебро. Брови у него широкие и густые, в строгом изломе. На переносье — глубокая морщина раздумья. Широкий овал подбородка рассечен темной ложбинкой, а расстегнутый воротник кителя обнажает сильную, крепко загорелую шею.

Поправив фитиль уже угасающей лампы, генерал неторопливо очинил карандаш и снова расстелил перед собой зеленую карту. Там, на карте, была начерчена красной тушью стремительная дуга с острым, как у шашки, концом. В пять ноль-ноль утра по этой дуге генерал двинет на прорыв свою конницу. Поддержанная залпами укрытых в лесу «катюш», она дружным ударом должна распороть оборону противника и неудержимой лавиной устремиться в его тыл. Уже к полудню все дороги отступления для фашистов должны быть перехвачены и превращены в настоящий ад.

Генерал взглянул на красную дугу и вздохнул. Пока только он один знает, какой ценой достанется осуществление этого плана. Многим из тех, кто лежит сейчас вокруг него, будет суждено уснуть вечным сном. Направление удара в трех местах пересекают мощные оборонительные рубежи. Там каждая канава — траншея, каждый пригорок — пулеметная точка. Там все, от края до края, обложено минами и опутано колючей проволокой. Там сплошная завеса огненной смерти...

В блиндаже было тихо, так тихо, что слух уловил мерное тиканье лежащих на карте карманных часов. Генерал протянул руку и, сам не зная зачем, внимательно начал следить за движением секундной стрелки. А, вот зачем. Еще шестьдесят секунд — и будет ровно двенадцать. Сейчас начнут бить кремлевские куранты.

Надо бы включить приемник и послушать этот ободряющий сердце далекий звон. Но нет, не стоит. Пусть спят солдаты...

...Рассвет вставал над степью, словно отдаленное зарево пожара. Так же, как при пожаре, колыхалось и рдело освещенное снизу небо.

Только рассвет, а уже все на ногах. Вокруг стола, на котором разостлана карта, стоят все командиры полков

и, хмурясь, чутко и настороженно слушают последний наказ. Голос генерала тверд и суров.

— Прорыв, который мы совершим, решит судьбу крупнейшей группировки врага. На нас надеется весь фронт. На нас надеется вся страна...

Командиры стоят перед генералом не шевелясь. Теперь они знают, какой это будет бой. То, что уже испытано, побледнеет и забудется после такого боя.

* * *

Он направлялся в полки за пять минут до сигнала к атаке. Учуяв близкий бой, конь под ним то и дело забирал удила. Пыль кружилась вокруг генерала степным вихрем, и, когда этот вихрь пролетал вдоль выстроенных эскадронов, выше туч поднималось громовое «ура».

Тот, кто не видел командира со времени прославленных буденновских рейдов, немало подивился, взглянув на проскакавшего мимо генерала. Будто и не сходил он со своего боевого коня. Та же лихая и стройная посадка, тот же бесстрашный взгляд и тот же неудержимый порыв вперед, навстречу врагу.

О начале атаки возвестили три красные ракеты. Когда их огненные хвосты пересекли черные тучи, генерал выхватил из серебряных ножен шашку и, что-то крикнув, взвил коня на дыбы. Так и запомнилось: взвитый на дыбы гнедой конь и прильнувший к его изогнутой шее всадник с оголенной шашкой в руке...

Фашисты отбивались ожесточенно, но конников остановить им не удалось. Конники натянули поводья, когда за спиной пролегла залитая вражеской кровью широкая просека. Натянули поводья и огляделись, чтобы отыскать глазами того, кто все время скакал впереди.

Но как ни поднимались они высоко на своих стременах, его нигде не увидели...

* * *

Еще с довоенной поры в колхозе имени Апанасенко установился обычай: на дорогу возле баштанов выносить накрытый клеенкой стол. На этом столе всегда лежало с полдесятка крупных арбузов. Каждый путник, шагаю-

щий по этой дороге, знаком ли он или совсем никому не знаком в здешних местах, мог присесть за этот стол и поесть. Не дозволено было лишь разбрасывать на землю спелые семечки: их требовалось бережно ссыпать в миску, стоящую рядом с куском пшеничного хлеба.

И вот однажды, на склоне жаркого августовского дня, баштанный сторож Данило за своим придорожным столом увидел казака. Угадывая фронтовика, старик решил подойти к нему и разузнать: давно ли он с фронта, и не встречал ли он там его сына Емельку.

— А в какой он части? — спросил казак, смакуя красную, словно жар, арбузную сердцевину.

— Он в кавалерии,— ответил Данило,— служит у генерала Апанасенко.

Нет, не видел казак сына баштанного сторожа, но Иосифа Родионовича видел. Видел своими глазами. И недавно. Уже после слухов о его смерти. И, похоже, зная, с какой любовью в здешних местах вспоминают про Апанасенко, поведал, как это было.

...А было это на Курской дуге, в момент прорыва фашистского фронта. Вал за валом, волна за волной мчались на грохочущий запад советские конники. Казацкая шашка рубила наотмашь, мстя оккупантам за слезы и кровь родного народа.

На время враг остановился у какой-то речки и поспешно опоясал себя колючей проволокой и надолбами. Четыре раза бросались казаки в атаку и каждый раз вынуждены были откатываться на исходные рубежи. Кинжальный огонь врага не давал им преодолеть чистое пространство в изгибе реки.

Уже отчаивались командиры, как вдруг из леса, окутанного пороховым дымом, выскочил всадник в заломленной серой папахе. Гнедой конь под его седлом яростно рвал удила и так легко перелетал через рвы и воронки, словно не скакал, а летел на крыльях. Всадник держал направление прямо на врага и, на скаку выхватив из серебряных ножен кривую казацкую шашку, громко крикнул:

— За мной, товарищи!

Казаки вскинулись и удивленно переглянулись: кто он такой? Кто он такой, и где они видели эту скроенную на ястребиный лад фигуру в лихо заломленной серой папахе?

— Братцы! — наконец ахнул один эскадронный.— Да это же он — Иосиф Родионович! Он!

И эскадроны ринулись вперед, будто их подхватил ветер...

Что было потом, пусть во всех подробностях вспоминают оккупанты (если кто из них уцелел до сих пор). В конном строю разметали их в клочья. Остановились лишь тогда, когда громить было уже некого, когда под копытами залег один прах.



Куряжанские

РАССКАЗЫ

ОТЕЦ

У Васи Ивлева не было ни отца, ни матери. Мать умерла от чахотки, еще когда ему было три года, а отец пропал без вести во время гражданской войны.

Как далекий сон, помнил Вася этот печальный день разлуки. Шел проливной дождь. Где-то совсем рядом гремели орудия. Люди бежали на станцию, вместе с ними бежал и Васин отец. В быстром водовороте толпы он потерял Васю. Потом Вася упал и долго не мог встать на ноги, а когда наконец поднялся, увидел лишь сверкающий мокрым асфальтом пустынный перрон.

Но в ту пору Вася не испытывал особой грусти об отце. Почти в тот же день на вокзале ему подвернулись друзья — оборвыши Сенька и Колька, и с ними как-то сразу стало легче и веселей. Вася не заметил, как пролетело лето и настала пора уезжать в солнечный Ташкент, где по рассказам знающих людей было много хлеба и вкусных, сладких, как сахар, яблок и дынь.

Но там, на чужой стороне, стала вдруг Васю одолевать смутная грусть. Все чаще и чаще он вспоминал дождливый и ветреный вечер разлуки с Одессой, шумный и мрачный вокзал, на перроне которого он потерял отца. Чтобы скрыть от товарищей слезы, он ложился на насыпь железной дороги и лежал до тех пор, пока совсем близко не раздавался грохот колес товарного поезда. Поезд, не останавливаясь, медленно полз на запад. Устроившись на тормозах, Вася ехал дальше — на запад, на запад!

Когда Вася снова очутился в родных краях, его охватила радостная надежда: а вдруг где-нибудь среди толпы незнакомых людей он встретит отца. Вася был уверен, что узнает его сразу, стоит только увидеть его, взглянуть на его плечи и руки, длинные и тяжелые руки одесского грузчика.

Но сколько Вася ни встречал мужчин с большими, мозолистыми руками, ни один из них не обратил на него внимания. Когда он останавливался перед ними, робко, искательно улыбаясь, они удивленно глядели на него, и Вася сейчас же отходил прочь. Он понимал, что отец не мог на него так глядеть.

И вот однажды, когда Вася сидел на перроне вокзала в городе Харькове, ожидая поезда на юг, он вдруг почувствовал на себе чей-то долгий и внимательный взгляд.

У открытого окна вагона стоял незнакомый человек в роговых очках и не спускал с него глаз. На его загорелом лице проглядывала усталость и мягкая грусть. На вид ему было лет сорок, он был здоров и крепок, а руки, положенные на подоконник, напоминали руки одесского грузчика. Руки были, как у отца, но это был не отец. Вася видел этого человека первый раз в жизни.

Смутившись, Вася отвернулся, медленно отошел в сторону. Неясная тревога охватила его. Он прожил на свете четырнадцать лет, но никто еще не смотрел на него таким взглядом. Взгляд незнакомца был теплым и ласковым, особенным взглядом.

Но вот ударил звонок, и поезд, вздрогнув, медленно поплыл мимо станции. Взглянув еще раз на перрон, незнакомец убрал руки с перил и гулко захлопнул окно. Вася посмотрел ему вслед и, сорвав с головы свой рваный капелюх, помахал им в воздухе, словно провожал кого-то близкого и родного.

И вдруг ему пришла мысль, сразу овладевшая всем его существом: а что, если это отец? Ведь Вася не видел его много лет, он мог забыть и его лицо и его имя. Через мгновение он исчезнет за поворотом, растает в дыму, и Вася никогда больше его не увидит.

Вася быстро сбросил с ног тяжелые рваные боты и, спрыгнув с перрона, ринулся вслед только что проскользнувшему мимо него вагону. Кто-то сзади закричал на него, но он ничего не слышал. Вот он уже настиг

поезд, схватился за поручни и, едва не попав под колеса, вспрыгнул на ступени вагона. Поезд умчался вдаль, вместе с ним умчался и Вася...

* * *

На станции Рыжево человек в очках сошел на перрон, и Вася, завидев его, тоже вышел из вагона. Выпив в вокзальном буфете фруктовой воды, незнакомец быстро ушел куда-то за станцию. Вася украдкой направился следом за ним. Он шел за ним долго, не решаясь нагнать, скрываясь от его взгляда в придорожных кустах. И только когда тот вошел в большие ворота незнакомой усадьбы, Вася выбежал на дорогу и крикнул с безнадежным отчаянием:

— Дяденька!

Человек в очках замедлил шаг и оглянулся. Его лицо скрывалось в тени ворот, и Вася не различил его выражения. Он хорошо только видел его освещенные солнцем руки, большие и тяжелые руки одесского грузчика.

Преодолевая волнение, Вася подошел к нему вплотную.

— Дяденька,— повторил он дрожащим голосом, — скажите, вы в Одессе когда-нибудь жили?..

Человек в очках удивился.

— В Одессе? — переспросил он.— Нет, в Одессе не жил. Но за то, что ты пришел к нам в колонию добровольно, хвалю,— и вдруг протянул руки и крепко обнял Васю за плечи, как можно обнять только родного сына.

ВЕСНА

В тот год весна была особенно солнечной и хорошей. С утра до позднего вечера в небе лилась звонкая птичья трель, шумели ручьи, зеленели поляны. У подножия Холодных гор, как сахар, искрился белый Харьков; в вечернее время там загорались огни, и свет их мерцал над горизонтом огромным багровым созвездием.

По утрам мы раскрывали окна и, вдыхая весеннюю свежесть, долго глядели в теплую синюю даль. Мы глядели вдаль, и на сердце у каждого становилось легко

и просторно. Так и хотелось расправить крылья и улететь, взвиться в небо и затеряться в голубиных просторах вишневой Украины.

В конце концов это упорное желание пробудило в груди беспричинную тоску. Хотелось уехать — не все ли равно куда — в Крым или во Владивосток, лишь бы уехать. Колония дорога для нас была только зимой. Зимой мы ее берегли и любили, но чуть пригревало весеннее солнце, все забывалось.

В последних числах апреля в колонии не осталось и половины воспитанников. Ребята убегали каждую ночь. Об их побеге узнавали по пустым койкам. В общежитиях становилось все тише и тише, и вскоре опустели целые комнаты.

Грустно взирал на этот весенний развал колонии наш заведующий. Он похудел, помрачнел, и взгляд его, обычно хороший и добрый, стал угрюмым и злым. Он перестал бывать среди нас. Едва смеркалось, он закрывал кабинет и молча уходил к себе на квартиру.

Позже всех собиралась бежать наша группа. Это была группа уже взрослых ребят, на плечах которых держалось все хозяйство колонии. Мы ухаживали за колонийскими лошадьми, пахали, сеяли и вели внутреннюю охрану зданий. Мы были взрослыми, но нас так же тянуло на «волю», чтобы поскитаться по станциям и полустанкам, напоить свое сердце легкомысленной бродячей свободой...

Свое бегство мы назначили в ночь на пятое мая, — майские ночи бывают по-особенному темны. Но в полдень четвертого к нам в общежитие неожиданно пришел заведующий. Молча опустившись на пустую кровать, он обвел нас хмурым взглядом и — хотя при нас никогда не курил — закурил. Он курил, обволакивая свое лицо лениво-сизым облачком дыма.

— Так, значит, ребята, — сказал он, сбивая ногтем пепел с папиросы, — и вы бежите. Так?..

Он сказал это спокойно и ясно, точно ничего не случилось, и мы закрыли глаза, чтобы не встретиться с его взглядом.

Заведующий встал, кинул в окно через наши головы потухшую папиросу и добавил с печальной решимостью в голосе:

— Ну, что ж, бегите. Никого не держу. Бегите!

Сказав так, он встал и, обведя нас своим проницательным взглядом, медленно вышел.

— Ну, хана, хлопцы! — проговорил кто-то из нас после молчания.— Будет дело...

И мы на цыпочках вышли из общежития и тихо направились во двор следить за заведующим. Мы видели, как он зашел к себе на квартиру, распахнул окно и долго стоял возле него в тяжелом раздумье. Затем отошел в сторону и исчез за короткой белой занавесью.

Прошел добрый час, пока мы снова увидели заведующего. Он медленно вышел на крыльцо, держа в руках чемодан и снятый со стены портрет Горького. Постояв там немного, он закрыл за собой дверь на ключ и не спеша направился к воротам. За воротами он снова остановился, снял очки и задумчиво протер их платком. Потом вдруг решительно вскинул чемодан на плечо и широкими шагами стал удаляться по шляху.

Мы удивленно посмотрели вслед заведующему. И вдруг странная тревога овладела нами. Сомнения не было, он уходил совсем. Он уходил совсем, не прощаясь и не оглядываясь назад.

Тень большого облака упала на нашу колонию. Мы встрепенулись и, подчиняясь смутному чувству недоумения, страха и жалости, выскочили за ворота. Мы ведь убегали из колонии не насовсем, а лишь до первых морозцев; по морозцу мы возвращались обратно в Куряж,[1] словно в родной дом, где всегда находили его, нашего заведующего, как и прежде, хлопотавшего о тепле и уюте для нашего брата.

Тень большого облака стремительно убегала по шляху, освобождая дорогу солнцу. Не помня себя, мы бросились следом за ней. Мы побежали на шлях, за заведующим.

— Антон! Антон Семенович! Куда же вы, куда?

Не знаю, слышал ли он наш крик, но назад он оглянулся только тогда, когда мы подбежали к нему вплотную. Лишь тогда он замедлил шаг и, посмотрев на нас сумрачно-строгим взглядом, опустил чемодан на дорогу.

---

[1] Куряж — детская трудовая колония, во главе которой долгое время стоял известный советский педагог А. С. Макаренко. Автор настоящих рассказов — бывший воспитанник этой колонии.

— Ухожу,— спокойно сказал он, вытирая платком вспотевшее лицо.

— Уходите?.. А как же мы?

Пыль, взвихренная ветром, на мгновение скрыла от нас лицо Антона Семеновича. Он зажмурился, вместо ответа махнул рукой и снова вскинул чемодан на плечо.

Единым порывом мы сомкнулись на шляхе, преграждая ему дорогу. И закричали отчаянно, чуть не плача:

— Антон Семеныч! Антон Семеныч!..

Заведующий опять опустил чемодан на дорогу и задумался. Он думал долго, нахмурив брови. Затем вдруг взглянул на нас и, горько усмехнувшись, сказал:

— А разве вам теперь не все равно? Вы ж разбегаетесь, для чего я вам нужен?— Он приподнял чемодан.

— Ой, Антон Семенович, да никуда мы не побежим. Чтоб провалиться нам сквозь землю, никуда.

— Не верю.

— Поверьте...

Пыль снова ударила в лицо Антона Семеновича, он пригнулся и уронил чемодан на землю. От удара чемодан распахнулся, и из него, точно голуби, вылетели маленькие листки белой бумаги. Подхваченные ветром, они стремительно понеслись по дороге, и мы гурьбой бросились следом за ними. Мы не знали, нужны ли они Антону Семеновичу или совсем не нужны, но мы ловили их с ожесточением, падая и крича, перегоняя друг друга. А переловив их, сдули с них пыль и, бережно сложив, передали Макаренко.

— Все?— спросил он, когда мы снова собрались вокруг него.

— Все, до одного,— хором ответили мы.

— Хорошо,— тут Антон Семенович улыбнулся и, сунув листки в чемодан, шутливо загреб нас в свои объятия.

— Ну и молодцы вы, ребята. Да как вы могли подумать, что я...

Мы не дали ему договорить. Мы закричали «ура» и, схватив его под руки, повели назад. Мы повели его снова назад, в свою колонию, которая еще никогда не была такой дорогой для нас, как в эти минуты.

Нам все мило там стало.

Нам все там стало дорогим бесконечно.

Мы возвращались туда как с родным отцом.

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

Недалеко от нашей колонии лежали сады. Они были густы и обширны — плодовые сады куряжанских селян. Там росла смородина, а за смородиной — яблоки, вишни и бергамоты. Ветви склонялись под их розовой тяжестью чуть ли не до земли, да и на земле было яблок сколько хочешь.

Как всегда, в вечернее время оттуда вместе с ветром прилетал густой анисовый запах. Он был таким сладостно-нежным, что невольно овладевала тоска и ни о чем не хотелось думать, кроме яблок. Расположившись где-нибудь на траве или на скамейках возле колонийского клуба, мы разглядывали вечер и с нетерпением ждали появления в небе звезд. Мы их ждали мучительно, и когда они наконец загорались и сливались с огнями вечернего города, незаметно рассеивались по колонии и один за другим исчезали в кустах.

Мы исчезали в кустах ненадолго, всего лишь на час, но за это время каждый из нас успевал обнести в темноте целую яблоню. Яблоки сыпались на землю, как град, и шум их падения далеко разносился по балке. Потом все стихало, сад пустел, а мы, отягощенные добычей, медленно шли по той же лесной тропе обратно в колонию. В колонии мы прятали яблоки под матрацы, не зажигая света, ложились на койки, и еще долго в темноте наших комнат был слышен осторожный смакующий хруст.

Куряжане хорошо знали, кто обкрадывает их сады, и не раз устраивали засады. Но нас было много, и оттого, что нас было много, мы ничего не боялись. Порою мы добирались до самой алычи и, если она была хороша, уходили из сада лишь на рассвете. На рассвете в Куряже пастух начинал трубить в рог, он трубил так громко и бодро, что его песня могла потревожить задремавших в шалашах сторожей. У них были ружья, заряженные горохом...

Куряжане хорошо знали о наших проделках, и когда им не помогли ночные засады, собрались и пошли к Антону Семеновичу с жалобой. Их привел голова сельрады — горбатый старик с лицом, суровым и смелым, и длинными сухими руками. Вызвав из клуба Антона Семеновича, он подошел к нему и сказал:

— Нам нужно поговорить, товарищ заведующий.

— Хорошо,— спокойно ответил Антон Семенович,— пойдемте.

Они ушли в контору. Мы посмотрели им вслед и переглянулись. День был солнечный, жаркий, в небе реяли наши колонийские голуби, они были голубые, как небо, только гляди и любуйся, но нам в этот час было не до голубей. Мы сразу догадались, зачем пришли куряжане в колонию, и притихли от тревожных предчувствий.

...И вот над конторой, освещенной горячим июльским солнцем, внезапно зазвучал горн. Он играл сбор. Медные звуки стремительно разлетались вокруг. Сбивая друг друга с ног, мы бросились к клубу, и не прошло и минуты, как вся колония уже стояла боевым строем перед окнами белого здания, застыв в напряженном ожидании.

Горн умолк, из клуба вышел Антон Семенович, вместе с ним вышли во двор куряжане и наши воспитатели Щур и Копаненко. Кто-то скомандовал «смирно», и строй, встрепенувшись, замер, замерла вся колония, только на одной кухне, как и прежде, стучали ножи да с бывшей монастырской колокольни доносилось воркование голубей — то печальное, то радостно-бодрое и веселое.

— Так вот, товарищи горьковцы,— выступая вперед, сказал воспитатель Щур,— получается не дюже гарно. Куряжане пришли на вас жаловаться. И знаете, за что? — он обвел наши лица вопросительным взглядом и добавил: — за то, что мы сады у них обрываем. Позор!

Тут он оглянулся назад, где стояли куряжане, и подозвал к себе голову сельрады.

— Не ожидали мы от вас, дорогие товарищи, такого позорного дела,— сказал тот, хмуря свои брови.— Никак не ожидали...

Потупив взгляды, мы угрюмо молчали. Каждое его слово ложилось на наши плечи, как камень, но тем не менее нам хотелось, чтобы он говорил как можно дольше. Мы были уверены, что после него начнет говорить Антон Семенович, а если он начнет говорить,— пропали хлопцы. Антон Семенович знал о наших проделках все, до мельчайших подробностей, знал наши фамилии и

даже место, где мы прятали яблоки. Он, конечно, вызовет нас из строя, поставит всех рядышком и скажет: «Глядите на них, на этих воришек, опозоривших нашу колонию!»

Голова сельрады сокрушенно крякнул и отошел в сторону. Он сказал все и охотно уступил свое место для последнего слова Антону Семеновичу. Голове сельрады было интересно знать, что скажет в заключение самый главный в колонии.

Антон Семенович заговорил не сразу. Он долго стоял молча, раскачиваясь на носках и косо поглядывая на нас. Затем вдруг кивком головы откинул со лба прядь волос, заговорил спокойно и просто, как будто ничего не случилось.

— Куряжане жалуются,— сказал он,—что горьковцы обкрадывают их сады, что по ночам от них нет покоя. Не знаю, может быть, и правда, что их сады обворовывают, но мне что-то не верится,— он вздохнул и снова взглянул на нас,— не верится, что это делают колонисты. Не такой у нас народ, чтобы решиться на это грязное дело. Я знаю всех, все выросли у меня на глазах и, поверьте, товарищи, что ни одного колониста я не могу сейчас обозвать вором. Были воры, а теперь это честные люди, которые могут служить примером даже для селянской молодежи. Да, да, товарищи куряжане, примером!

Прошло целых пять минут, прежде чем мы опомнились от слов Антона Семеновича. Это было так неожиданно и так трогательно, что на наших глазах заблестели слезы. Нам показалось, что куряжане в самом деле на нас клевещут, что мы честные люди и можем служить примером для их же детей. На то ж мы — колонисты, мы — горьковцы...

Легкая волна возбуждения пробежала над строем. Как подсолнухи от налетевшего ветра, закачались бархатные тюбетейки ребят. Из конца в конец пролетел говор, кто-то свистнул, а наш «киревеник», вожак ночных вылазок в балку Ленька Чаусов, вдруг вышел из строя и, багровея от обиды и злости, воскликнул:

— Да, да, это поклеп! Поклеп на нашу колонию!

Куряжане удивленно посмотрели на Антона Семеновича, пожали плечами и медленно стали отходить в сторону. Потом они заторопились домой, а мы волной

нахлынули на Антона Семеновича, окружили его и долго шумели, волнуясь и негодуя и наперебой доказывая свою непричастность к куряжанской смородине.

...Яблоки недалеко катятся от яблони. Если они молоды и если смолоду их не подточил червь, как ни тряси яблоню, они не сорвутся на землю. Мы сшибали их с ветвей палками вместе с почками, а когда ночь была особенно темной, сами влезали на ветки.

Ночь после «визита» куряжан была очень темной, шумел ветер и накрапывал дождь, но как ни странно показалось куряжанским садовникам, до рассвета в их садах не слетело с ветвей ни одного яблока. Колония спала, не спал лишь один Ленька Чаусов. Он до утра бродил по общежитиям, устанавливал, где, на какой койке сдернута наволочка для яблок и кого нет в эту темную ночь на своей койке...

Потом еще много было темных ночей, июль сменил август, после августа над колонией распластался холодный сентябрь. В сентябре в куряжанских садах начинала созревать антоновка. С колонийской стены в ясный полдень хорошо были видны золотистые тяжелые плоды, до них было подать рукой, но куряжане молчали. Они больше не шли к Антону Семеновичу жаловаться на нас, мы давно перестали бывать в их садах.

Они пришли к нам уже глубокой осенью, когда сады осыпали листья, пришли на вечер, посвященный первому выпуску колонистов в самостоятельную жизнь, и вместе с собой нам в подарок привезли три воза антоновских яблок. Яблоки были спелые и сочные, с золотистым отливом, мы наелись в тот вечер их вдосталь — чудесных антоновских яблок, спокойно созревших в куряжанских садах.

НОЧЬЮ

В ту далекую пору мы не знали, кто он такой. Мы знали лишь то, что он живет на синем побережье Италии, где лечит туберкулез. И еще мы знали, что этот неизвестный для нас человек когда-то был таким же беспризорным, какими были и мы, что оттого-то он и заботится так много о нашей колонии, что самому пришлось испытать горькую сиротскую долю.

И вот однажды он прислал в Куряж письмо, в котором сообщил, что скоро вернется на родину и по пути заедет к нам. Мы начали готовить себя и всю колонию к приезду большого гостя. Но шли дни и недели, а он не приезжал. В конце концов нам показалось, что он совсем не приедет, и флигель, где устроили гостиную, опять превратили в клуб, а триумфальную арку, сооруженную перед въездом в колонию для торжественной встречи шефа, разобрали и свалили на склад.

И вдруг, как подземный удар, телеграмма на синем листочке: «Встречайте, мои дорогие друзья, еду».

Был обеденный час. Над колонией только что прозвучал горн, и мы дружно уплетали в полутемной столовой перловую кашу. Кое-кто уже облизывал чашку, косо поглядывая на кухню в надежде на добавку, как вдруг вошел воспитатель Платон Иванович и громко сообщил нам о только что полученной телеграмме.

Мы обрадовались этому сообщению несказанно, но потом вдруг вспомнили о разобранной арке, о неподметенном дворе, и радость наша сразу растаяла. Сбивая друг друга с ног, мы как очумелые бросились во двор. У нас еще было время кое-что сделать, и мы не хотели терять этого времени. Расхватав в кладовой хворостяные метлы, мы подняли над колонией такую пыль, что она не улеглась до самого приезда гостя.

Он приехал немного позже, чем мы его ждали,—высокий, худой, загорелый, одетый в белый костюм. Машина еще шла, а он уже открывал дверцу, обводя наши лица ясным, ласкающим и добрым взглядом.

Став по команде «смирно», мы сделали салют и закричали «ура!». В ответ Горький помахал нам рукой и, жмурясь от солнца, сошел на землю.

...Потом пришел Платон Иванович в новой рубашке-украинке, он взял Горького под руку и медленно повел его по линейке к флигелю. Мы было бросились следом за ними, но, увидев нахмуренные брови воспитателя, остановились. Он уводил гостя во флигель на отдых, и нам нечего было там делать.

Вернулся Платон Иванович в сумерках, почти перед самым отбоем. Мы узнали его шаги издали. Он шел к нам и тихо насвистывал какую-то веселую песню.

Увидев нас, он приложил палец к губам в знак безмолвия и замедлил шаг.

— Сегодня,— сказал он, мягко улыбаясь,— сегодня отбоя не будет. Максим Горький лег спать, и тишина над колонией должна быть полной. Понятно?

— Понятно, Платон Иванович.

— А сейчас,— продолжал он,— выделите двух хороших и надежных ребят. Они должны пойти на охрану флигеля. На всю ночь...

— Хорошо, Платон Иванович,— хором ответили мы и сразу заспорили, кто из нас больше всего достоин охранять сон великого гостя. Мы спорили долго и шумно, ни за что не соглашаясь уступать друг другу высокую честь. Но потом, чтобы прекратить спор, Платон Иванович бросил жребий, и счастье выпало мне и моему другу Кудряшке. Все ушли спать, а мы с Кудряшкой отправились к флигелю, чуть не танцуя от радости.

...Мы стерегли флигель чутко и зорко. Каждый подозрительный шорох пробуждал в нас настороженность и тревогу. Сжимая в руках палки, мы так напряженно вглядывались во тьму, что отчетливо видели очертания самых дальних колонийских построек.

И вот, когда мы с Кудряшкой совсем уже опьянели от очарования ночи, где-то совсем рядом в кустах послышался подозрительный шорох. Мы вздрогнули и оглянулись. Там, в акациях, освещенных тусклым оконным светом, раздвинув руками ветки кустарника, стоял незнакомый мужчина. Он был оборван и угрюм. Черная щетина вокруг рта и на щеках, ввалившиеся неподвижные глаза и обнаженная грудь придавали ему страшный вид. Он стоял и чего-то ждал, устремив свой странный взгляд в распахнутое окно флигеля.

Заметив его, я и Кудряшка замерли от страха. Крикни он в это мгновение, и мы опрометью убежали бы прочь. Но он не крикнул. Сняв с головы свою рваную шапку, он перекрестился и медленно направился к дверям флигеля.

Мы вышли из тени и преградили ему дорогу.

— Назад,— строго сказал я, направляя конец палки в его заросшую щетиной грудь.

Старик остановился, спокойно взглянул на нас и на минуту задумался. Затем, оглянувшись по сторонам, съежился и хрипло проговорил:

— Ребята, мне надо бы пройти к Алексею Максимовичу Горькому.

— К Горькому?— воскликнули мы.— Да ты кто? Кто ты такой?

Старик не ответил, лишь как-то странно пожал плечами и поник головой. А я, ободрившись, вышел вперед и смело предложил ему сойти с крыльца и убраться вон. Горький только что приехал, он устал и никого не принимает, тем более ночью.

— Понятно?— спросил его Кудряшка, когда я умолк. И добавил с легкой угрозой в голосе,— а не уйдешь, пеняй на себя...

Но тот не уходил и был страшен в своем молчаливом упорстве. Он медленно стал подниматься по ступенькам все выше и выше, а мы, не в силах сдержать его, начали отступать ближе к двери.

— Да ты что, с ума сошел? — возмущался Кудряшка.— Разве не видишь, что Горький лег спать... Уйди, сейчас же уйди!

— Не уйду,— ответил старик.— Не уйду, пока не увижу Максимыча. Ведь мы с ним сорок лет не видались.

Тогда мы поняли, что старик по-хорошему не уйдет. Он не уйдет до тех пор, пока не разбудит Горького, и я украдкой толкнул Кудряшку в бок. Я только толкнул его, но он сразу все понял и, незаметно соскользнув со ступеней, исчез в темноте. Его не было долго, и я уже готов был уступить незнакомцу дорогу, как где-то совсем близко послышался звон цепи и глухое сдержанное ворчание. Это Кудряшка вел к флигелю цепных колонийских собак.

Наш заговор старик разгадал только тогда, когда увидел перед собой оскаленные собачьи морды. Он отшатнулся назад и замер, не смея пошевельнуться, перевести дух. При свете звезд я отчетливо увидел его искаженное страхом лицо с большими и выпуклыми глазами.

— Тузи его! — крикнул Кудряшка вполголоса и выпустил из руки цепи.

Собаки рванулись на крыльцо и с воем набросились на старика. Клочья его одежды полетели во все стороны. Порывисто хрипя и ругаясь, он скатился по ступеням на землю, отбиваясь, кинулся бежать. Он бежал, а собаки, как вихрь, кружились вокруг него, наполняя пречерную ночь озлобленным воем. Вой уда-

лялся все дальше и дальше в балку, из балки в лес, из леса в другую балку и вскоре совсем затих...

И только он затих, как где-то внутри флигеля раздался громкий кашель. Кашель повторился совсем уже близко, и мы, притаив дыхание, с тревогой взглянули друг на друга. Звякнула щеколда, дверь распахнулась, на крыльцо вышел Горький. Он был в белье — высокий, худой, и на плечах его висел небрежно накинутый бархатный халат. Тут же рядом, дрожа и изгибаясь, стояла его высокая черная тень.

— Что здесь случилось, ребятки? — тихо спросил он.— Что за шум?

— Да понимаете, Алексей Максимович,— ответил я,— бродяга оборванный какой-то ломился во флигель. К вам все хотел.

А Кудряшка добавил:

— Ну, мы просили, просили его отойти от дверей, а потом взяли да и спустили собак, чтобы знал, как...

Горький нахмурил брови.

— Спустили собак? — испуганно переспросил он и торопливо сошел по ступенькам на землю.

— Где он, где же он сейчас?

— Не знаем, — ответили мы, чуя недоброе.

— Сейчас же найдите его и приведите сюда,— сурово сказал Горький. — Сейчас же, немедленно!

Сначала мы думали, что Горький шутит, но, увидев его холодный и злой взгляд, поняли, что совершили страшную и непростительную ошибку. Как ошалелые мы бросились с Кудряшкой в лес. Мы с отчаянием звали старика, раздвигали кусты, ломились плечом через упругие ветви, забыв про страх, про боль исколотых хворостом ног. Мы обыскали всю балку, весь лес, все окрестности — никого не нашли. Старик ушел.

Когда же мы вернулись назад и молча приблизились к флигелю, то увидели Горького, сидевшего на нижней ступени крыльца. Он курил, низко опустив на грудь голову, одинокий и грустный, и мы, подойдя к нему, долго-долго стояли у его ног, виновато потупив взгляды. Нам было стыдно и больно, и оттого горькие слезы текли по нашим щекам.

Давно это было.

Слезы тогда текли по щекам. А теперь, когда вспоминаю об этом, они текут по моей душе.

У КОСТРА

Костер разгорается быстро и ярко. Дубовые сучья шумно трещат в желтом пламени. Дым поднимается к верхушкам деревьев, долго колышется над ними. Сквозь беспорядочный строй стволов виднеется Куряж, там играет гармонь и льется грустная девичья песня. Начинается вечер.

Мы сидим на траве вокруг костра и, щуря глаза от едкого дыма, мирно ожидаем вечернего отбоя. В нашей колонии по-прежнему живет дорогой гость. Он лег отдыхать, а мы, чтобы ничем не нарушить его покой, переселились на вечер под ветви дальнего дуба. Тихо вокруг. Приглушенно звучит речь нашего товарища Кольки Дорохова, неторопливо повествующего об одном из событий его прошлой бездомной жизни.

— Было это недалеко от Алушты, в Крыму. Шли мы — я и еще двое дружков, — сами не зная куда. А тут ночь, да такая холодная, что зуб на зуб не попадет. Какой-то проезжий сказал нам, что недалеко село, а в том селе столовая, а при ней ночлежка...

Дорохов обрывает рассказ и, затянувшись папиросой, осторожно оглядывается назад. Там, в лесу, раздается треск сучьев и чьи-то медленные шаги. К нам кто-то идет. Идет напрямик, через балку, заросшую колючим кустарником. И оттого, что идет без дороги, мы догадываемся: кто-то чужой.

Мы затихаем. Шаги слышатся ближе и ближе. Вот они совсем рядом, и вдруг раздвигаются ветви и перед нами вырастает высокая фигура Алексея Максимовича.

— Добрый вечер, ребята,— говорит Горький, улыбаясь.— Что же меня не зовете? Ишь какой костер!

Он присаживается рядом с нами и, прислонив трость к черному дереву, протягивает к огню свои длинные жилистые руки. Пламя тускло отсвечивается на его скулах, в глазах тлеет веселый жар, усы, озаренные снизу, переливаются золотом. Горький глядит на нас и ласково щурится.

— О чем вы здесь толкуете?

— Да вот рассказываю об одном случае,— застенчиво отвечает Дорохов.— Из своей прошлой жизни...

— О! — восклицает Горький.— Может, и мне можно послушать. Люблю...

— Конечно, можно,— улыбается Колька,— пожалуйста.

И вот все снова стихает, снова раздается голос рассказчика. Мы пододвигаемся ближе к костру и замираем в немой неподвижности.

...Идем мы дальше. Дорога — как змея — то вправо, то влево, то снова вправо. Чтобы скоротать путь, мы решили идти напрямик, по лесным горным тропам. Товарищи мои были постарше и здоровее меня. Они без труда спускались и поднимались по склонам, а я, меньшой, выбился из сил и стал отставать. Те и говорят:

— По дороге тебе будет легче, ступай по дороге, а мы вон у той горы обождем.

Послушался я их и снова вышел на дорогу. Она была пустынная, кругом такая темень. Стало мне малость страшно. Иду, потом стал бежать. Бежал, бежал, а хлопцев моих все нет, и села не видно. Нигде ни огонька, ни звука, только тучи, да ветер, да я на узкой горной дороге.

Остановился, оглянулся кругом. Вдруг молния чиркнула через все небо, и вижу прямо перед собой около самой дороги какой-то дом. Радость охватила меня. Вот, думаю, счастье — близко люди... Бросился вниз, к этому дому, пролез по кустарникам, исцарапался весь. Гляжу, а это совсем не дом, просто развалина — ни дверей, ни окон, одни стены. Хотел было повернуть назад, но в этот момент хлынул дождь. Куда бы, думаю, укрыться. Смотрю — ступеньки куда-то вниз, видно подвал. Темно, хоть глаз выколи, стал искать я, где бы прилечь. Нагнулся, шарю руками по каменному полу в надежде найти сухое место. Нащупал какую-то доску и полез по ней на четвереньках в глубь подвала. Лезу, а она гнется подо мной. Отчего гнется, я и не подумал в тот момент. Скорей бы лечь, отдохнуть немного, укрыться от дождя. Снял с плеча узелок, положил под голову и сразу заснул...

Дорохов делает паузу, затем, бросив в костер охапку хвороста, продолжает:

— И вот будто меня кто-то толкнул. Проснулся и чую, где-то внизу подо мной слышится тихий тоскливый плач, ну точь-в-точь как плачет малый ребенок. Холодные мурашки забегали у меня по телу, что, думаю, такое? Хотел подняться, но ноги мои не находят пола,

они свисают точно над ямой. Я торопливо достаю спичечную коробку, отыскиваю в ней последнюю спичку и зажигаю. При бледном свете вижу доску, на которой сижу, а под доской — огромный погреб, наполненный густым мраком.

То ли со страху, то ли оттого, что пламя обожгло мне пальцы, я выпустил спичку. Она медленно полетела вниз, чертя во мраке огневую полосу. Я долго глядел ей вслед, дна в погребе не было и не было...

Дорохов нервно передергивает плечами и ближе придвигается к костру. Горький кладет на его голову свою большую руку и ободряюще теребит пальцами волосы. Он доволен, в ласковом прищуре его глаз сияет восторженная улыбка.

— Что было потом,— тихо продолжает Колька,— не помню. Опомнился я лишь на дороге, когда побежал стремглав прочь. Пробежав версты три, неожиданно увидел село. Там, у околицы, на копне соломы спали мои корешки. Я разбудил их и рассказал обо всем.

Тайна развалин их очень заинтересовала, и утром мы все втроем вернулись назад.

Заходим в подвал. Прислушались — плачет. Зажгли бумагу и бросили вниз, и когда огонь осветил дно,— тут Дорохов поднимает глаза и начинает смеяться, — увидели чекалку.[1] Самую обыкновенную чекалку, что бродит в лесах.

— Хороший случай,— говорит Горький, смеясь.— Очень хороший. Право, я, пожалуй, останусь с вами на весь вечер. Я готов вас слушать до рассвета.

Слова Алексея Максимовича наполняют нас радостной гордостью. Мы подбрасываем в костер хворосту и назаметно подталкиваем Митьку Сороку. У Сороки богатая жизнь, он где только не был — в Крыму и на Севере, в тундре и за тундрой. Весело ощерившись, Митька выходит вперед и приседает на корточки возле Горького.

— Пробирался я однажды на юг, в теплый край,— начинает Митька Сорока.— На каком-то глухом полустанке меня сбросили с поезда, и я ждал другого. Ждал долго, и когда он пришел, я сейчас же нырнул под задний пассажирский вагон, чтобы устроиться на тормозах.

---

[1] Чекалка — дикая собака.

Там кто-то уже сидел. Но вылезать из-под вагона было поздно: поезд стоял на полустанке всего лишь одну минуту. Я попросил незнакомца потесниться немного и сел рядом с ним. Только сел — поезд тронулся, и перед нами стремительно завертелась черная ось колес.

Вы сами знаете, как ездить на тормозах, особенно ночью. Беспрерывная качка страшно клонит ко сну, а заснуть на тормозах — это верная смерть...

Сорока задумчиво сплевывает сквозь зубы в огонь и исподлобья оглядывает наши лица. В этот момент где-то вверху тревожно и глухо начинает шуметь листвой ночной ветер. Он встряхивает верхушки деревьев, и над костром появляется несколько серых дубовых листьев. Они медленно опускаются вниз и падают прямо в огонь, полыхающий перед нами.

— ...А тут еще этот сосед. Из-за него невозможно повернуться. Ноги онемели. А куда их денешь, когда рядом еще один пассажир. И знаю, что он-то ни при чем, что он раньше меня залез сюда, а все же досадно на него, и в моем сердце закипала злоба. Из-за тебя, думаю, еще с жизнью расстанешься раньше времени.

И только я отвел в сторону взгляд, как услышал страшный крик. Хрустнули кости, брызнула кровь. Что-то горячее и влажное, мотаясь, как тряпка, ударило меня в плечо, еще и еще раз...

Падают листья. Пламя жадно схватывает их и мгновенно превращает в черные комочки.

Горький хмурится. Он хмурится все сильнее и сильнее, потом вдруг встает и торопливо отыскивает рукой прислоненную к темному дереву трость. С минуту он молчит, устремив на костер свой невидящий взор, затем поднимает голову и говорит в тишине:

— Нет, я пойду, мне пора.

И уходит. Мы долго глядим ему вслед, долго видим меж шумных веток на фоне колонийских огней его согбенную худую фигуру, окутанную какой-то непонятной для нас скорбью. Больше никто не подбрасывает в костер сучьев, мы молчим и с грустью слушаем нарастающий ночной ветер...

Эх, Сорока, Сорока!

Очень, очень мало нас было, кто не понял, почему Горький не захотел досмотреть и дослушать пламя нашего лесного костра.

ПЕСНЯ

Много хороших песен мы знали в ту пору и всегда, ожидая вечерний отбой, собирались где-нибудь у клуба или на лесной опушке, сдвигались в тесный кружок и запевали. Было очень приятно раскачиваться в обнимку, в такт веселой или унылой мелодии, и вместе с ее эхом мысленно улетать далеко-далеко, к своим юным мечтам, к тайным думкам о своей будущей жизни...

В дни пребывания в колонии нашего гостя мы, чтобы не нарушать его работу и отдых, уходили куда-нибудь подальше. Наши голоса долетали до флигеля лишь как эхо, как отдаленный вечерний звон. А когда было ветрено и колонийские деревья шумно шелестели листвой, нас совсем не было слышно.

Но вот однажды кто-то из воспитателей сказал, что наше пение Горькому очень нравится, что он даже жалеет, что песни так далеко поют от его флигеля. И мы, пошумев немного, решили в следующий вечер собраться невдалеке от его окон и спеть что-нибудь такое, что особенно понравилось бы нашему дорогому гостю.

Но какую же именно подобрать песню — с этой думой мы провели весь следующий день. Песен много было хороших, но ни одна из них, как нам казалось, не подходила для той счастливой минуты. Потом кто-то, к нашей всеобщей радости, вспомнил, что у Горького есть своя любимая песня, что когда он слышит ее, на глазах у великого писателя выступают слезы — она навевает ему много каких-то далеких воспоминаний.

После обеда мы убежали в лес, чтобы разучить эту, еще не знакомую для нас песню. Еще не знакомую, но уже очень близкую сердцу.

И вот настал долгожданный вечер. Темное кружево верхушек деревьев тихо повисло над крышами флигеля. В синем небе, как светлячки, замерцали тусклые звезды, из-за бора поднялась розовая луна. По тайному сговору над всей колонией повисла легкая тишина, не нарушаемая даже лаем собак (собак мы закрыли в тот вечер в глухом дровяном сарае).

По одному, по двое, будто просто для того, чтоб скоротать время перед отбоем, к черным стволам деревьев стали собираться лучшие песенники колонии. Сначала мы повели приглушенную беседу, а потом, когда откры-

лось окно флигеля, наш запевала Савка прислонился спиной к дереву и, полузакрыв глаза, тихо затянул:

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно...

Голос у Савки был мягкий, слегка рыдающий, в нем чувствовалась неизбывная скорбь, и нам, всегда о чем-то тоскующим в такие минуты, очень легко было вплетать свои голоса в его задушевный запев. А в этот час, когда нам хотелось спеть особенно хорошо, мы подхватили его голос, как голубиное перышко, и над колонией сразу полилась ладная и чистая песня, полная безмерной тоски и глубокой печали.

Днем и ночью часовые
Стерегут мое окно...

Поем и сами наслаждаемся тихими волнами чудной мелодии.

Ах вы цепи, мои цепи,
Вы — железны сторожа,
Не порвать вас, не порезать
Мне без острого ножа...

Мы поем, и кажется нам, что нашу песню слушает вся вселенная: и лес, и небо, и звезды, и розовая луна— все, казалось, затаило дыхание, все смотрело на нас, радуясь и удивляясь.

Да — э-э-э-х
Мне без острого ножа.

И вот, когда кончилась песня и над колонией снова повисла звонкая тишина — вся в лунном сиянии, — мы подняли пытливые взгляды на окно флигеля. Там, в широком квадрате окна мы увидели Горького. Облокотившись на подоконник, он смотрел на нас, погруженный в какую-то тяжелую думу. Лицо его было сурово и неподвижно, брови нахмурены, а в глазах, ясных и добрых глазах, колыхалась тихая и нежная ласка. Он смотрел на нас, ярко освещенный луной, и говорил, как бы прося величайшего одолжения:

— Спойте еще раз, ребятки. Очень прошу...

Мы обрадовались, переглянулись, подтолкнули Савку и снова сдвинулись в тесный кружок. Но в это время к нашей великой досаде с крыльца клуба сорвался громкий отбой. Звуки горна широко разлились над колонией и, тихо дрожа, улетели за бор, в дальние балки. Мы стояли и горестно ждали, когда они стихнут, и когда горн наконец умолк, медленно направились в общежитие. Мы шли туда неохотно, низко опустив головы, а Горький глядел нам вслед, и в его взгляде были сожаление и тоска...

В общежитии мы сразу забыли о песне и, балагуря, торопливо стали расшнуровывать ботинки. Через минуту мы погасили свет и нырнули под теплые и мягкие одеяла. Комната наполнилась тишиной, лишь слышался тонкий и монотонный звон потревоженных кроватных пружин.

Прошло пятнадцать, быть может, двадцать минут. Мы уже начали дремать. Нам уже снился бор, который раскачивается в такт нашей песне, как вдруг где-то совсем близко отчетливо услышали глуховатый голос.

— Что, спите, ребятки?

Мы удивленно открыли глаза. За распахнутым настежь окном нашей комнаты кто-то стоял. Темная его фигура была обведена по контурам лунным светом, лица не было видно, но мы разу узнали его. Это был Алексей Максимович.

— Не спите?

— Нет, еще не спим, только легли...

Горький склонился на подоконник и в грустном раздумье начал медленно набивать табаком свою черную трубку. Он набивал ее долго, и на призрачном фоне лунного света мы ясно заметили, как невесть отчего дрожали его сухие и длинные пальцы.

— Славно поете, ребятки,— тихо сказал он.— Очень славно.— И, помолчав немного, добавил с какой-то загадочной грустью в голосе:

— Только, прошу вас, не пойте при мне больше этой песни...

Мы удивленно приподнялись на койках.

— Не петь?

— Да, ребятки. Пойте что-нибудь другое — веселое, бодрое. А эту песню, прошу вас, петь не надо... не надо.

— Не надо,— повторил он глухо и чиркнул спичкой. Короткая вспышка огня озарила его лицо. И пока он прикуривал, мы ясно увидели сквозь синий табачный дымок его полные слез печальные глаза.

Почему не надо — мы, конечно, тогда так и не поняли. Поняли лишь потом, когда пришлось узнать биографию этого великого человека, всю его многострадальную и мятежную жизнь.



Фронтовое

МОГИЛА СУСАНИНА

Осенью сорок первого года наша дивизия, опрокинув противника, двинулась по старым знакомым дорогам обратно, на запад.

То были дивные дни, полные солнечного восторга и загоревшихся надежд. Впервые за всю войну солнце взошло за спиной.

Лесные тропы, по которым мы неделю назад прорывались из вражеского кольца, вывели наш батальон на коммуникации фашистов. У деревни Сучанка мы обрушились на полк дрезденских мушкетеров, ошеломив их неожиданностью нападения. Мы гнали их много километров, с разбегу овладели понтонным мостом, переброшенным через шумную реку Полу, и закрепились на ее крутых берегах. Военное счастье переметнулось от врага к нам.

Потом наш батальон был послан на правый фланг с задачей притиснуть к болоту Сучан остатки разгромленной гренадерской бригады. Образовав широкий полукруг, мы пошли прямо по болотной воде, через чащи и заросли, как охотники-звероловы. То странное состояние опустошенности и душевного напряжения, которое владело нами во время отхода, сменилось бодрой уверенностью и бесстрашием.

* * *

На рассвете наш огневой полукруг коснулся своими концами болота, зажав гренадеров в прибрежной деревушке Пустошка.

Противник оказался в ловушке. С трех сторон его обложил наш батальон, с четвертой раскинулся непроходимый Сучан. Наступил час долгожданной и грозной расплаты.

Но деревня, где засел противник, не проявляла никаких признаков жизни. На улицах было тихо и пусто. Лишь порой слышался предутренний крик петуха да лай собак.

По приказу начальника штаба вперед была выслана боевая разведка. Она вернулась очень быстро. Разведчики доложили, что в деревне противник не обнаружен.

Угадывая недоброе, комбат отдал приказ сомкнуть кольцо вокруг Пустошки. Но едва мы вступили в деревню, как во всех концах ее захлопали и заскрипели калитки и на улице показалась группа женщин. Убедившись, что мы свои, советские женщины радостно бросились нам навстречу.

— Родимые,— запричитали они вперебой,— ну чуть бы раньше — застали, застали б проклятых!..

— Так где же они?

— Ушли. Через болото ушли. Еще при зарнице...

Толком все объяснил седобородый деревенский сторож. Прикрикнув на женщин, чтобы прекратили гомон, он рассказал, как в полночь в уснувшую уже Пустошку ворвались фашисты. Он, бывший солдат, сразу учуял отчаянное их положение. В сумраке ночи послышались крик и ругань, тревожная беготня и звон оружия. Офицеры ошалело метались из хаты в хату, расспрашивая жителей, как пройти через Сучан, предлагали любую награду.

В Пустошке немало стариков, которые хорошо знают все скрытые тропы через Сучан. Однако никто из них не согласился вести врага на ту сторону. «Не скрываем,— говорили они фашистам,— пройти можно, но где таятся те тропки, сроду не ведаем. Вот Семен Гаврилыч, царство ему небесное, он знал...»

Этот явный сговор русских бородачей привел фашистских офицеров в ярость. Согнав стариков в здание школы, фашисты объявили, что, если в течение получаса деревня не представит проводника, все заложники будут расстреляны.

— Что ж, пусть расстреливают,— говорили меж со-

бой взятые под замок старики.— Сами станем под дулами, а через Сучан не поведем. Не перевелись еще на русской земле честные люди. Еще умеют, эге, еще как умеют они умирать за правое дело...

— Кто же повел их? — перебил старика комбат.

— Да нашелся-таки сукин сын. Бродяга какой-то. Ночевал здесь, у Кривой Марфы. Говорят, пришел сюда через болото и путь держал в Невий Мох. Своей охотой, шельма, повел...

Все было ясно, и волей-неволей пришлось дать отбой.

Было уже светло, когда в хату, где разместился штаб нашего батальона, вошел усатый и коренастый сержант из разведки и доложил, что его люди задержали фашистского офицера, только что вышедшего из Сучана.

Комбат распорядился ввести его в хату. Худой, темный лицом, весь испачканный грязью немецкий офицер нерешительно переступил через порог. Он взглянул на комбата как отрешенный и бессильно опустился на лавку.

— Пусть ответит,— сказал комбат переводчику,— почему он вернулся?

— Я отвечу без переводчика,— мрачно промолвил фашистский офицер чисто по-русски.—Я знаю ваш язык.

— Ну!

Проводник сыграл над нами злую шутку. Он завел нас в трясину. Из двухсот человек назад выбрался только я...

Мы изумленно переглянулись. Так, значит, возмездие совершилось! Враг не ушел, не спасся, выскользнув из нашей ловушки. Русская месть все же настигла его, хоть в болоте, но настигла!

— А проводник, где проводник?

— Его застрелил капитан,— ответил пленный.

...Что ж, вечная слава тому, кто повторил подвиг, известный всем нам еще со школьной скамьи! Мы встали. Мы не могли больше смотреть на этого грязного фашиста. Вызвав к себе деревенского сторожа, комбат попросил его сейчас же отправиться с группой солдат, помочь им найти труп проводника. Мы не могли оставить его в трясине, мы обязаны были похоронить его, как героя.

За время войны много видели мы подвигов, но ни

один из них так не взволновал нас, как подвиг этого неизвестного человека. Ясно представили мы себе, как он стоит среди камышей в ночной болотной сырости и, полный презрения к смерти, смеется над врагами, которых ему так легко удалось обмануть. Он знает, что им не выбраться из этой трясины никогда. Фашисты глядят на него с ужасом, а он стоит и смеется. А кругом плывет тишина, и только изредка вскрикивает в камышах длинноносый дупель. Тишина кажется бесконечной, и в ней столько предсмертной тоски, что в жилах начинает леденеть кровь. Не один, видно, гренадер пожалел в те минуты, что так далеко забрался в наши края.

* * *

Мы похоронили проводника в центре Пустошки, со всеми воинскими почестями. Кругом цвели лесные цветы, и все же его гроб обложили зеленой хвоей — в колючих ветвях присучанской сосны было больше суровой солдатской скорби.

Похоронили, но так и не узнали ни имени его, ни фамилии. Поэтому на надгробной плите решили написать: в этой могиле похоронен Иван Сусанин.

КАТЮША

Это было еще в начале первой военной зимы, как раз в тех местах, где стоят каменные монументы над могилами павших героев Бородина. Над скованной морозом землей гремело сражение. Багровый дым пожарищ плыл по небу, как грозовые тучи. Пламя гигантских взрывов взлетало до самого солнца, и солнце, закопченное дымом, висело над заснеженными рощами и перелесками, как тусклый стеклянный шар.

Отступать дальше было нельзя — слишком глубоко вошел в тело страны вражеский нож. За спиной в синей дымке рассветов уже вставали контуры родной златоглавой столицы, и люди в серых шинелях сняли шапки-ушанки и, став на колени, поклялись перед своими боевыми знаменами: отныне не сделать назад ни одного шага. Война подошла к самому сердцу России, и тот рубеж, где дали клятву наши солдаты, стал главным рубежом обороны Отечества.

— Стоять насмерть, товарищи! В Москве фашистам не быть.

И хотя враг сделал новый сильнейший удар, наши полки устояли. Смелым броском вперед они заставили отборные части врага откатиться назад и зарыться в мерзлую землю...

Так случилось, что в этих боях наш батальон оказался в ста шагах от переднего края противника. Наши солдаты разгадывали в траншеях врага каждый шорох. Мы отчетливо слышали не только звон котелков и удары лопат о землю, но и чужой разговор.

В минуты затишья мы вели себя спокойно и тихо, но фашисты все время бесновались в своих блиндажах и окопах. Они то и дело бросали в нашу сторону злые насмешки. Их, видно, выводило из себя упорство, с каким мы отбивали все их атаки. Привыкшим к легким победам в Европе, им было в диковинку наше хладнокровие.

— Рус, когда будешь сушить штаны? — кричали они, сопровождая свою пошлую остроту взрывом безудержного хохота.

— Возьми прикурку! — и где-то за бруствером падал камень, замотанный в тряпку — издевательский намек на распространенное среди наших солдат кремневое огниво.

— Эй, кричи не «ура», а «караул»!..

Мы не отвечали. К чему? Для нас война была не цирк, а суровое и грозное время. Мы пришли в эти траншеи не шутить, а бить врага, посягнувшего на наши мирные земли.

— Рус, а не споешь ли ты нам «Катюшу»!

— Обожди, споем,— ворчали солдаты,— так споем, что долго будет вам помниться наша песня. Костей не соберете...

Это была не пустая угроза. Со дня на день мы ждали приказа о переходе в наступление по всему фронту.

Удар по врагу должен совершиться еще небывалый. Впервые с нашей стороны заговорит новый миномет. Что это за миномет, мы и сами еще не знали, но нам уже было известно, что из его ствола сразу вылетает целая стая снарядов страшной разрушительной силы. Неведомый и грозный, он уже стоял, готовый к бою, где-то в лесу и ожидал только сигнала, чтобы обрушить на головы фашистов свой смертоносный заряд.

Гитлеровцы, конечно, не подозревали о нависшей над ними опасности. Их пьяные песни и выкрики не прекращались. Они еще были уверены в своей силе и превосходстве над нами. Траншеи в подмосковных лесах им казались временной остановкой: фрицы еще надеялись сломить нас и отбросить далеко на восток.

— Рус, ну спой же!

«Катюша» была наша любимая фронтовая песня. Она нам нравилась за свою ободряющую напевность и чистоту чувств. Мы пели ее везде: и в походах, и на привалах, порой даже в окопах. Верность безвестной девушки, ее привет и наказ беречь русскую землю вселяли в нас новые силы. Родная «Катюша» звенела на всех фронтах, и не было другой песни в ту пору милее и краше для огрубевшего в битвах солдатского сердца.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет.
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет...

Фашисты знали о нашей любви к этой песне и потому каждый раз норовили посмеяться над нами. Заслышав «Катюшу», они поднимали хохот и визг.

И вот однажды, когда пьяные фрицы вновь стали просить нас спеть «Катюшу», комбата вдруг вызвал к телефону начштаба полка и приказал приготовить батальон к атаке. В двенадцать ноль-ноль на нашем участке должна начаться артиллерийская подготовка. Она будет недолгой, но такой сокрушающей, что на переднем крае противника вряд ли останется что-либо живое. Только смотрите...

— Только смотрите,— повторил начальник штаба, понижая голос,— будет неимоверный огонь и грохот. Предупредите солдат, чтобы они не растерялись. Все, что они увидят и услышат сейчас,— будет не фашистское, а наше...

Батальон замер. Вот полминуты, вот четверть минуты, вот ровно двенадцать ноль-ноль. И эти двенадцать ноль-ноль запечатлелись у нас как мгновение между вспышкой молнии и ударом грома. Только мгновение, но кто-то все же успел приподняться над бруствером и крикнуть:

— Эй, фрицы, так и быть, сейчас споем вам. Приготовьтесь слушать.

Земля содрогнулась, и мы увидели, как из-за ближнего леса взметнулись в небо огромные огненные хвосты. Казалось раскололась земля, и из ее недр с диким шипением вырвалась раскаленная масса. С робким удивлением мы вскинули головы вверх и, как по команде, присели в траншее, поняв, что это ударил он — наш новый миномет.

— Не подниматься,— бледнея, крикнул комбат Завьялов, и в ту же секунду совсем близко от нас раздался могучий грохот тяжелых снарядов.

Густой бурый дым окутал траншеи противника. Земля зашаталась, застонала, будто там началась невообразимая, невиданной силы буря. Высокие фонтаны земли вскинулись почти на всей линии немецких траншей. То был настоящий ураган смерти, и когда он оборвался, кто-то из солдат, поднимаясь на бруствер, громко крикнул:

— Вот вам, фрицы, и спели...

С той поры мы не помнили, чтобы фрицы просили нас спеть. Залп нового советского миномета навсегда отбил у них охоту к окопной потехе. Скромное девичье имя, которое после боя так и осталось за этим минометом, сделалось для них самым страшным именем на Советской земле.

СЕСТРА

В полночь, после короткого, но ожесточенного боя у хутора Пасеки, эскадрон капитана Баскаева в пешем строю разорвал надвое застигнутый врасплох батальон вражеских гренадеров и, пропустив вперед своих коноводов, скрылся в лесу, по ту сторону фронта. Там, у безымянного родника, на глухой полутемной полянке, окруженной соснами, казаки собрались в кучку и опустили на траву раненых товарищей.

— Ну, что ж теперь будем делать с ними? — спросил Баскаева один из взводных, кивнув головой на раненых.

Командир эскадрона задумался. И в самом деле, что теперь им делать с теми, кто сейчас лежал на носилках? От родной дивизии эскадрон уже отрезала линия

фронта, и вынести их назад невозможно; не было возможности и увезти их с собой.

Между тем на востоке уже занималась заря. Ночной сумрак раздвинулся и отчетливо очертил силуэты людей. Эскадрон не мог больше терять ни одной лишней минуты. Надо было двигаться дальше — в глубь вражеского тыла. Мосты, которые пошел взрывать эскадрон, находились за сорок километров от этого места. Согласно приказу командира дивизии, в девятнадцать ноль-ноль завтрашнего числа они должны были взлететь на воздух.

Раздумье командиров прервала медицинская сестра Оля Голубева.

— О раненых вы не тревожьтесь,— сказала она совершенно спокойно.— До вашего возвращения они останутся здесь... вместе со мной.

Все удивленно посмотрели на Олю. В своем ли она уме? Но Оля сказала:

— Не теряйте, товарищи, времени! Трогайтесь.

— Что ж, другого выхода у нас нет,— после долгого и невеселого молчания сказал Баскаев.— Так и сделаем,— и, шагнув вперед, он на глазах всего эскадрона обнял и крепко поцеловал эту тихую и скромную девушку в сапогах и в серой солдатской шинели.

* * *

Когда эскадрон ушел и Оля осталась одна среди высоких темных сосен, она вдруг ясно представила, что ей придется здесь пережить. Кругом стоял враг, он рыскал по всем лесным дорогам и тропам, надеясь напасть на след прорвавшихся в тыл советских кавалеристов. В любую минуту Оля могла ожидать появления на поляне зеленых шинелей. Не в смерти дело — Оля давно научилась глядеть ей прямо в глаза,— страшнее смерти был плен.

Но изменить уже ничего было нельзя, и Оля, привычно расстегнув санитарную сумку, подошла к раненым. Их было больше сорока. Еще вчера здоровые и крепкие парни, сейчас были беспомощны, как грудные дети.

...Почти до заката солнца Оля промывала и перевязывала раны казакам. Она прилегла на траву только тогда, когда лес насторожился во тьме и притих.

Но как ни устала Оля, а уснуть в ту ночь она не смогла. Каждый шорох в лесу заставлял ее вздрагивать и осторожно вглядываться во мрак. Ей все чудилось, что кто-то идет. Замирая, Оля подползала к стонущим раненым и зажимала ладонью их горячие рты.

— Тише, тише, родные мои,— шептала она, припадая к земле,— рядом фашисты...

Страшное напряжение нервов не прошло и с восходом солнца. Над лесом вдруг появились вражеские самолеты-разведчики. Они то снижались до самых верхушек деревьев, то снова набирали высоту, кружа, как высмотревшие добычу беркуты. Словно учуяв что-то, фашистские стервятники висели над соснами до самого вечера и лишь перед закатом, когда на лес опустился туман, сбросили бомбы в болото и улетели.

Новый закат девушка встретила с облегчением. По ее расчетам, в эту ночь должен был вернуться Баскаев. Трудно было гадать, с какой стороны появятся его люди, но почему-то Оля была уверена, что они появятся, как только стемнеет. Оля сходила к роднику, наполнила холодной водой все солдатские фляжки, умылась, причесалась и, уложив медикаменты, надела шинель.

Но вот уже взошла луна, залив ночной мир бледным светом, а лес по-прежнему таил настороженную тишину. Как ни прислушивалась Оля, до ее ушей не долетел ни один звук. Так же как и вчера, кто-то крался меж сосен, хрустел травой, поблескивая в темноте злыми глазами, но тех, кого ждала девушка, в лесу не было...

Конногвардейцы не вернулись и на следующий день. Раненые казаки стали глядеть на Олю с затаенной тревогой: ждать или уже не надеяться ни на что? Чувство обреченности овладевало ими все больше и больше. Они перестали отгонять мух от своих ран, не просили сестричку «хоть немножечко» посидеть рядом с ними. Пища, которую Оля положила у их изголовья, осталась нетронутой...

* * *

Возвращаясь от родника с выстиранными бинтами, Оля вдруг услышала незнакомые голоса. Испуганно отскочив в сторону, она присела за куст шиповника и осторожно сквозь листья взглянула вперед. По тропинке, которую она протоптала в траве в поисках брусни-

ки, медленно шли три немца. Автоматы они держали на боевой изготовке, но шли без всякой предосторожности, громко разговаривая между собой. Идущий впереди высокий и худой обер-ефрейтор с темными очками то и дело оборачивался и что-то властно и зло доказывал понуро бредущему следом за ним сутулому и щуплому солдату с низко надвинутой на лоб каской. Молодой автоматчик с белокурым локоном меж бровей часто запрокидывал голову и заливался веселым смехом.

Оля замерла. Тропинка, по которой шли фашисты, вела прямо к поляне, где лежали казаки. Пройти мимо, не заметив лежащих на земле раненых, они не могли. Даже если и не заметят, то услышат стоны сержанта Копылова. Он был ранен в голову разрывной пулей, которая оставила в черепе десятки осколков, и страдал сильнее всех. Порой он кричал так громко, что Оле приходилось прикрывать его голову буркой.

Холодный пот выступил на лбу девушки. Она вцепилась в колючие ветки шиповника с такой силой, что меж пальцев показалась кровь. Случилось как раз то, чего она боялась больше всего. Через две-три минуты раненые будут обнаружены, и Оля бессильна сделать что-либо для их спасения.

Между тем фашисты уже дошли до сосны, за которой скрывалась полянка. Оля едва различала меж зелеными ветками их спины. Еще минута, и все будет кончено.

Охваченная отчаянием, не сознавая себя и утратив всякое чувство страха, Оля вдруг выпрямилась и, раздвинув шиповник, крикнула:

— Стойте!

Крик женщины в пустынном лесу на мгновение ошеломил фашистов. Они испуганно оглянулись и, чуть присев, выбросили вперед дула своих автоматов. От резкого движения у ефрейтора слетели очки, а у сутулого солдата еще сильнее надвинулась на лоб каска.

— Хенде хох!

Что это значило по-немецки, Оля знала давно. Она должна была поднять кверху руки и покорно, не шевелясь, стоять и ждать, пока к ней подойдут враги.

Боже мой, зачем она крикнула? Ведь все равно ничего не изменится: после того, как свяжут ее, фашисты

снова пойдут по этой же тропинке. Мало того, обнаружив у нее только что выстиранные бинты, они сразу поймут, что где-то рядом находятся раненые русские.

Взглянув в черные зрачки автоматов, Оля ясно поняла, что жизнь ее кончилась, но надо попытаться спасти раненых. Она присела за куст и, сбросив со своих плеч шинель вдруг рванулась в сторону и побежала по направлению к роднику.

Треснула автоматная очередь. Пули качнули над головой ветки деревьев и унеслись в глубь леса. Затем раздалась злобная ругань, и сзади шумно зашелестела под сапогами бегущих немцев сухая трава.

— Хальт! Хальт!

Убегая, Оля мало верила в свое спасение. Фашисты, конечно, нагонят ее: они дрессированные, сытые и здоровые. В крайнем случае они пристрелят ее. Она думала лишь об одном: пока еще жива, пока еще есть силы в теле, надо бежать, увести врагов от роковой тропинки как можно дальше.

Какая-то большая рыжая птица встрепенулась у ног Оли. Крупные яйца хрустнули под каблуком ее сапога. Это произошло в какую-то долю секунды, но девушка успела понять, что она раздавила счастье этой испуганной ею птицы...

Внезапно лес раздался неширокой, заросшей островками посада поляной. Задыхаясь, Оля бессильно свалилась на землю и с ужасом оглянулась.

В первое мгновение сознание не смогло воспринять того, что увидели ее глаза. Это было так неожиданно и так невероятно. Пригнувшись к седлам, наперерез фашистам лихим наметом мчалась группа казаков.

— Родные! — с исступленной радостью закричала девушка.— Вернулись... вернулись-таки...

И, уже теряя сознание, сквозь гул в груди и ушах услыхала знакомый голос капитана Баскаева:

— Руби их гадов! Руби без пощады!

ОДИН

Мы лежим под копной свежего сена — я и табунщик колхоза имени Ленина Корней Величко—смотрим вдаль на Эльбрус, на беспредельный простор степи. Оба мы

думаем о Никите. Никита — старый приятель Корнея, бывший табунщик колхоза имени Апанасенко. Его уже давно нет в живых, он замерз в бурунах во время шургана, когда спасал от фашистов колхозного жеребца чистой арабской крови. Как это случилось, точно никто не знает, но все рассказывают так, будто видели своими глазами. В то время, когда Никита бродил с конем среди песчаных дюн, Корней лежал в окопах где-то под Моздоком. Однако после его рассказа о друге передо мной сразу встала полная картина этой грустной истории.

...Возле саманной конюшни, покрытой молодым камышом, стоит одинокий мужчина в запыленной гимнастерке. Его лицо опалено солнцем, по-степному прищуренные глаза тревожно смотрят вдаль. Он коренаст и широкоплеч, а короткие, сильные ноги слегка искривлены, как у старого конника буденновской выучки.

Кто стоит у конюшни, хуторяне могли бы узнать издали. Но хутор опустел еще на рассвете. Только у пруда за плакучими ивами гоготала стая белых гусей.

А спина у Никиты еще не просохла от пота. Он только что слез с седла. Три недели назад его как лучшего табунщика правление колхоза услало на далекий конный завод, чтобы доставить оттуда купленного племенного жеребца. Шла война, и фронт требовал от народа не только пушки, танки, автомашины, но и лошадей. Хороших боевых лошадей.

И вот звенит удилами белый красавец в колхозной конюшне, стоит и ждет, на что решится его новый хозяин. Пока Никита ездил на конный завод, фронт докатился до его родных мест. Чтобы не очутиться в руках врага, не попасть в плен, люди уже давно покинули хутор. Опустело все: и хаты, и фермы, и полевые станы. Куда ни бросал взгляд Никита, он видел закрытые ставни, пустые дворы да обнаженные степные дороги. Оказаться среди окаянных шинелей лягушиного цвета не захотел даже безногий баштанный сторож Емелька, скрылся и он неведомо где.

Меж тем на перевалах, залитых лучами полуденного солнца, Никита уже отчетливо видел густую черную пыль, поднятую гусеницами вражеских танков. Медлить было нельзя, и если он медлил, то лишь потому, что не знал, как поступить. Надо бежать, но куда бежать? Сво-

бодной от пыльных столбов теперь оставалась только одна дорога — на север, в пески, в глухую совершенно безводную степь — Зурмату. Был бы он один, без коня, он уже скрылся бы в той стороне, но как решиться сделать это с драгоценным конем?

Но не стоять же в раздумье и дожидаться, пока вражьи руки возьмут жеребца под уздцы. Пусть лучше он сгинет в песках, чем достанется прусскому юнкеру. И Никита бросается в конюшню. Дрожащими от волнения руками он отвязывает коня и поспешно выводит наружу. Полукруг пыльных столбов через минуту-другую соединится своими концами: надо успеть проскочить.

Может, и видели его фашисты в тот час, только вряд ли кто из них догадался, что это промчался всадник. Так, как пронесся через некошеные хлеба белый конь, могла пролететь лишь дикая птица. Лишь дикая птица могла так стремительно скрыться вдали и исчезнуть из глаз.

Так совсем неожиданно очутился Никита среди сыпучих песчаных дюн и саг,[1] сверкающих на солнце своей соляной коркой, как вдребезги разбитое зеркало. Тут было безопасно: сюда не вели дороги. Да и то пространство, которое занимала Зурмата, не нужно было захватчикам; они рвались не в пустыню, а туда, где был хлеб, где было масло, мясо, где нефть.

Первая неделя жизни в песках как будто прошла незаметно. В одной балке Никита наткнулся на чабанский колодец, возле которого зеленела лужайка золотургана. Стреноженный жеребец бродил по этой лужайке, а Никита, настроив из конского волоса хитроумных петель, промышлял птиц.

Но вскоре над головой все чаще и чаще стали появляться вражеские самолеты. Порой они шли бреющим полетом, едва не цепляясь колесами за песчаные гребешки. Порой кружились высоко в небе, подобно стервятникам, высматривающим поживу.

Время шло мучительно медленно, но все же шло. Минул август, сентябрь, а когда ночи стали длинными и холодными не трудно было понять, что это уже ноябрь. В ноябре на бурунную степь упал первый снег, и к мукам голода прибавилась еще одна мука — холод.

[1] Саги — высохшие озера.

Одетый в одну гимнастерку Никита промерзал до костей, спасаясь лишь тем, что прижимал к коню то спину, то грудь, то свои окоченевшие руки.

И вот на буруны налетел зимний шурган. Такое тут случалось довольно часто — волна ураганного ветра со стороны Каспийского моря. Именно из-за этого ветра сюда почти не заходили со своими стадами животноводы: если вовремя не укрыть от него скот, не загнать животных под крышу, их угонит невесть куда, порой до самого Маныча, до его непроходимых трясин.

Что начался шурган, Никита понял сразу. Не прошло и минуты, как ветер яростно захлестал по земле, а песчаная поземка стремительно понеслась на запад. Да, это был шурган, может быть, еще невиданный, и Никита впервые растерялся, пал духом. Ведь укрыться где-либо ему с конем было негде — вокруг, от горизонта до горизонта, лежала плоская, как ладонь, без кустика, без деревца, безжизненная равнина.

В первые минуты Молодец еще слушался повода, туго накрученного на руки Никиты, но после того, как все померкло вокруг от поднятого в небо песка и снега, он рванулся и побежал на запад, в ту сторону, где лежал хутор. Хлесткий ветер погнал его так же легко, как гнал курай, и Никита уже ничего не мог сделать, чтобы остановить его.

...Когда снимали с седла Никиту, поводья пришлось обрезать ножом — они вдавились в оледеневшие пальцы почти до костей. А сняли Никиту с седла советские танкисты, внезапно появившиеся на своих грозных машинах на улице хутора. Красавца-коня танкисты передали пришедшим сюда следом за ними колхозникам, а замерзшего табунщика похоронили в братской могиле, вместе со своими боевыми друзьями.



Рассказы разных лет

МАТЬ

Старушка переехала к дочери на другой же день после отъезда Николая на фронт. Опечаленная разлукой, она больше не могла жить в одиночестве; в семье дочери Мария Ивановна надеялась найти утешение: там она будет меньше томиться тревогой за судьбу любимого Коли.

Домик Груни стоял на самой окраине города, возле широкого, заросшего чаканом озера. Из его окон открывался вид на просторный военный аэродром. С рассвета до позднего вечера над аэродромом реяли зеленые остроносые самолеты, то и дело сотрясая домик яростным воем пропеллеров.

Соседство с аэродромом и радовало и печалило Марию Ивановну. Вид самолетов напоминал ей о сыне, который тоже был летчиком; казалось, он находится где-то здесь, совсем рядом, всего лишь за километр от нее. Но в то же время самолеты вызывали у старушки неуемную тревогу за сына. Старушке было непостижимо страшно смотреть на виражи и мертвые петли, которые делали летчики невесть на какой высоте от земли.

Когда пришло первое письмо от Коли, Мария Ивановна так разволновалась, что занемогла. Вернувшись с работы, Груня застала мать в постели и, взглянув на нее, подумала, что пришло известие о гибели брата. Но Николай был жив и здоров и в своем письме рассказывал, как принял он первое боевое крещение и сбил три вражеских самолета. За отвагу в борьбе с ненавистными оккупантами командование уже представило его к

награде, так что ты, мол, мама, можешь гордиться сыном.

— Чего же ты так расстроилась? — смеясь, сказала Груня наклоняясь над матерью.— Ведь лучшего и желать не надо...

В первое мгновение Мария Ивановна не знала, что ответить, потом приподнялась, пригладила волосы и, нахмурив брови, промолвила:

— Ты еще молодая, доченька. Вот когда станешь матерью, тогда поймешь все...

* * *

Но, видимо, таково уж материнское сердце, что умеет предчувствовать. Несколько дней спустя в домик Груни пришел почтальон — знакомый старик-инвалид,— расстегнул свою черную сумку и подал письмо. Заметив его угрюмый, полный тоски и скорби взгляд, Груня сразу все поняла.

В тот день матери дома не было. Она уехала проведать соседей по старой квартире, и эта случайность даже обрадовала Груню.

Почтальон ушел, а Груня долго сидела одна в пустой комнате, уронив голову на колени. Как сказать матери? Она не перенесет такого горя...

И Груня решила: мать не должна знать, что почтальон принес извещение о смерти Николая. Груня скажет ей правду только тогда, когда скрывать будет уже невозможно. А сейчас пусть думает, что Николай попрежнему жив и здоров, а если нет писем, то, значит, не находит для них свободной минуты...

Слезы горькой утраты были насухо вытерты, и Мария Ивановна, вернувшись домой, как будто ничего не заметила. Поездка в город, казалось, освежила ее и рассеяла беспокойные думы о сыне. В этот день она ни разу не вспомнила о Коле, не вздохнула, не смахнула слезы. Только перед закатом почему-то притихла, пригорюнилась и долго сидела в печальном раздумье, устремив неподвижный взгляд на аэродром.

Шли дни за днями. Груне, с трудом скрывавшей от матери горе, стало казаться, что мать совсем перестала томиться тревогой за сына. Мимо окон проходил знакомый почтальон, но Мария Ивановна уже не сры-

валась со стула, как раньше, не поднимала на старика своих умоляющих, тоскливо-встревоженных глаз. Подвинув к окну стул, старушка брала спицы и с утра до синих сумерек вязала и вязала для Николая то шерстяные носки, то теплые варежки, то снова носки.

— Мама, — часто говорила Груня,— да сколько ты будешь их вязать? Ведь этих варежек да носков Николаю на сто лет хватит!

— Ничего, милая,— тихо отвечала старушка, не отрывая взгляда от спиц,— зима длинная, пригодятся. Не в тепле, а под открытым небом.

Так прошел месяц. Под окном в палисаднике липа осыпала листья. Дыхание близкой зимы окутало город. Тревожно зашумели камыши в озере, а над аэродромом заклубились низкие и хмурые тучи. Наступили долгие осенние вечера. Уставшая на работе, Груня быстро засыпала на кушетке, уронив на пол книгу, и в домике воцарялась унылая тишина. Лишь по-прежнему у окна позванивали железные спицы; до поздней ночи старушка вязала и вязала — то носки, то варежки, то снова носки.

И вот однажды, вернувшись с работы, Груня застала мать за приготовлением большой посылки. Склонившись над столом, Мария Ивановна укладывала в фанерный ящик все связанные ею теплые вещи. Она укладывала их с такой любовью и нежностью, что Груня, не выдержав нахлынувшей в сердце боли, упала на кушетку и разрыдалась.

— Мамочка, милая,— запричитала она.— Прости, не могу больше... Ведь Коли, нашего Коленьки, давно уже нет в живых!

Мария Ивановна не могла не расслышать ее слов, не понять того, что было сказано. Но старушка не пошатнулась, не вскрикнула, не схватилась за сердце, как ожидала Груня. Только тяжко-тяжко вздохнула.

— Перестань плакать,— сказала она, не отрываясь от своего дела.— Что Коля погиб, я знаю давно, с первого дня. Я поняла это по твоим глазам. А если молчала, то хотела... хотела, чтоб тебе было легче.

И, опустившись на стул против окна, тихо добавила:

— А носочки и варежки я вязала для его фронтовых товарищей. Зима длинная и, по всему видно, будет холодная...

ДРАГОЦЕННЫЕ ЗЕРНА

На фронт Софрон Миронов уехал в начале августа, когда на полях его родного колхоза уже созревали хлеба. В то тревожное лето урожай в заволжских краях выдался на славу, и при расставании Миронову было грустно и больно оттого, что уже не придется убирать такую богатую пшеницу своими руками.

А летнюю страду Софрон с малолетства считал самой благодатной порой. До чего ж было приятно пересыпать на ладонях золотую пшеничную россыпь! Сколько волнующей радости зарождалось в душе при виде ворохов на колхозном току, щедро облитых блеском жаркого августовского солнца.

Фронтовая дорога была бесконечно длинной. В течение лишь одного года Софрон побывал под Ленинградом, под Старой Руссой, под Харьковом и в Донбассе. Служить довелось в противотанковой роте, и не один вражеский танк запылал от его меткой пули. Приходилось отступать и наступать, мерзнуть и голодать, радоваться и скорбеть, но крепкий душой солдат Миронов не подломился.

Однажды стрелковый полк, в котором служил Миронов, оборонял безвестный хуторок в далекой ставропольской степи. В этих краях Софрон оказался впервые, но ему сразу полюбилась степная здешняя сторона. Она вся была покрыта шумящей пшеницей, а при виде пшеницы Миронов всегда вспоминал родные места.

Однажды по приказу командира роты Софрон залег со своим противотанковым ружьем в глубокой меже возле дороги. В тягостном ожидании фашистских танков он пролежал в ней до рассвета, а когда на степь пролился яркий солнечный свет, вдруг увидел рядом с собой кулигу пшеницы. После вчерашнего боя поле почти все было истоптано и выжжено, а тут, где он залег, пшеницу даже ничем не задело. Спелые колосья не стряхнули на землю ни единого зернышка.

По еще не забытой привычке Софрон протянул руку и сорвал несколько колосьев для того, чтобы размять и взвесить на ладони зерно. Сорвал — и обомлел. Еще никогда он не видел такой пшеницы, какая лежала в его руке. Тяжелые зерна напоминали собой крупную дробь.

Долго разглядывал Софрон эту невиданную пшеницу.

В его родной стороне не было такой. В урожайный год родная пшеница давала самое большое по восемь центнеров с гектара, а эта, наверняка, могла дать двадцать с лишним. Увидав такую озимку, заволжские колхозники немало подивились бы ей.

И тут решил Софрон запрятать в свой вещевой мешок колосья этой пшеницы. Гляди и дойдет он до Берлина ни разу не поцелованный пулей.

* * *

С тех пор, где бы ни был гвардии рядовой Софрон Миронов — в походе, на отдыхе или в бою — он всегда ощущал за своими плечами драгоценную ношу. Он берег ее наравне с боевыми патронами от ПТР, не доверяя ее даже своему фронтовому другу Сергею Зарубину. Опасаясь прорастания зерен, Софрон никогда не клал вещевой мешок на сырую землю, во время дождей туго закутывал его в плащпалатку, а в моменты переправ, когда приходилось бросаться в реку в сапогах и шинели, перехватывал мешок на дуло ружья.

Сергей Зарубин был тоже из заволжских степей, тоже хлебороб. Часто, лежа в окопе рядом с Софроном, он заводил речь о том, с какой радостью после победы вернется на родные поля, к знакомому делу. Но из-за того, что слишком мало верил в свое бессмертие, на софроновскую пшеницу махал рукой. Наблюдая, как тот кутает ее от дождя, он говорил:

— Да выкинь ты ее, Софрон. Дойдем до Германии, я разыщу тебе добрый центнер. Там, говорят, есть похлеще.

— Сомневаюсь,— спокойно отвечал Софрон.— Была бы похлеще, фашист не набрасывался бы на нашу пшеницу. Видел, какой у них хлеб? Не хлеб, а эрзац, и на вкус, как подметка...

Так пронес Софрон Миронов горсть ставропольской пшеницы до самого Берлина и только в Берлине, уже после грома победных салютов, решил отвеять ее от половы и ссыпать в стеклянную банку. Сергей Зарубин был тут же, но теперь совсем по-другому глядел на зерно. Он пересыпал его на ладони с такой любовью и нежностью, будто это были не зерна, а золотая россыпь. А в последнюю ночь перед отъездом в родные края с

глухим затаенным вздохом открыл свой чемодан и, достав оттуда трофейный перламутровый аккордеон, проговорил:

— Так и быть — возьми взамен своей пшеницы...

Софрон задумался. Он тоже собирался ехать домой и, признаться, давно мечтал приобрести для меньшего сына такой подарок. И Софрон постарается его приобрести, но только не за свою пшеницу. Он уже знает, что это самый лучший в мире сорт, какой не найти нигде, и что этот сорт, недавно выращенный советскими агрономами в далекой ставропольской степи, не боится ни солончака, ни суховея. И бережет его Софрон не для удивления своих земляков, а для того, чтобы сразу по возвращении на родные поля заняться размножением новых семян. Пусть не скоро, но и на заволжских засушливых землях должна заколоситься крупноколосая чудо-пшеница.

— Не обижайся, Сергей, за мой отказ,— сказал Миронов, отставляя в сторону аккордеон.— Пройдет время, я тебе отгружу этой пшенички, сколько хочешь. Возьми на прощанье...

И он протянул боевому другу листочек бумаги с адресом родного колхоза.

АКАЦИЯ У ОКНА

Тихо в хате. Мирно стукают ходики в темном углу. Наслаждаясь теплом и покоем, где-то мурлычет кот, а в трубе глухо стонет чужая и тоскливая песня ветра.

Перестелив больной свекрови постель, Ольга отыскивает на комоде недовязанный чулок и присаживается возле окна. Там, на улице, за ближними вербами играет баян. Ольга на минуту прислушивается к его переливам и, тяжело вздохнув, бессильно опускает руки на колени. Задумчивым взглядом она долго глядит через стекло на синее небо, на голые ветви акации в палисаднике, опаленной во время боя.

И опять — уже который раз — Ольге приходит в голову странная мысль: как, однако, похожа ее судьба на судьбу этого засохшего перед окном одинокого дерева.

...Долго, очень долго никак не хотелось верить. Был

Андрей парнем рослым и крепким, как тот кудрявый дуб у околицы, и совсем не верилось, что его уже нет на свете. Все почему-то думалось, что когда отшумит война и на дальнем западе угаснут зарницы пожаров, вместе с другими казаками явится на хутор и ее родной Андрей, может, уже и не таким молодым, не с таким густым чубом, как прежде, но живым и кипучим по-прежнему...

Теперь Ольга уже не надеялась и не ждала. Война давно окончилась, и все, кто сражался на фронте, вернулись на хутор. А Андрей не вернулся.

Знала Ольга, что не одна она осталась вдовой, но никак не могла убедить себя, что ничего уже не вернуть. Как будто и улеглась боль утраты, не щемило с прежней силой в груди при мысли о муже, но тоскливо зияющая пустота в сердце не пропадала. Каждый раз, когда Ольга садилась возле окна и глаза ее останавливались на опаленных ветвях мертвой акации, ей вдруг делалось так горько, что на глазах выступали слезы.

И как хотелось в такие минуты кинуть на подоконник спицы, набросить на плечи шелковый платок и уйти на улицу, под темные вербы, к баяну. Может быть, там станет ей легче, там она не будет такой одинокой и потерянной, как здесь, в осиротелой и сумрачной хате.

Но не уходит Ольга под вербы. На лежанке возле печи дремлет больная свекровь. Старушка занемогла после того, как узнала о гибели сына. Как у всякой матери, ее печаль безутешна. Ольге жаль ее, эту женщину. Она всю жизнь отдала для них с Андреем, для их семейного счастья, и любила Ольгу материнской любовью. Оставить ее одну вместе со своим горем в этой пустой хате — значит забыть все, значит оскорбить память о ее сыне и прибавить старушке много новых страданий.

А переливы баяна становятся все ближе и громче. И вскоре Ольга различает на улице группу девушек с гармонистом Яшкой. Они идут по направлению к Ольгиной хате — веселые и шумливые, лихо приплясывая под баяновые переборы. На Анютке Крамской синеет шелковая косынка, а на Яшкиной кубанке горит красная партизанская лента.

«Уж не ко мне ли?» — думает Ольга и, устрашаясь этой мысли, резко отшатывается от окна. Неосознанное чувство тревоги охватывает ее с такой силой, что долго

она не может понять, что стучит: кровь в висках или щеколда.

— Да открой же, Олюшка,— наконец слышит она за дверью знакомый голос Анюты Крамской.— Али спишь?

Тихо, не торопясь, Ольга открывает сени и сразу чувствует, как чьи-то горячие руки обхватывают в темноте ее плечи. Они упрямо тащат ее вниз, со ступеней на землю, сильные и добрые руки свинарки Анюты.

— Да ты что, в самом деле!.. Скаженная!

— Сама ты скаженная,— смеется Анюта,— заперлась на семь запоров. Пойдем.

— Куда?

— Как куда? В клуб. Там танцы сегодня...

— Ой, что ты! — испуганным голосом говорит Ольга, силясь вырвать свои руки из рук Анюты.— Как же так можно?

— А, брось,— почти раздраженно перебивает ее Анюта.— Брось, не норовись!— И снова забирает Ольгу в охапку. Ольга хочет уцепиться за что-нибудь, но уцепиться уже не за что, и она покоряется настойчивой силе подруги.

Всю дорогу до клуба Ольгу ведут под руки. Вечер стоит звездный и ясный, полный волнующей весенней свежести и покоя. Ольга идет как заколдованная, вся во власти какой-то незнакомой, но сладкой отравы. Она рада этому случаю и не рада. Давно сердцу хочется рассеяться и забыться, но как, какими глазами ей придется потом глядеть на свекровь и что подумает, что скажет старушка, когда увидит в полночную пору ее пустую постель...

Клуб переполнен, негде упасть яблоку, но Анюта и Яшка все же находят свободные стулья. Под ярким светом Ольге становится немного неловко: чтобы не быть у всех на виду, она отодвигается в угол и прячет лицо за листвой герани. Танцевать она, конечно, не будет, пусть танцуют те, у кого нет на сердце ни горести, ни печали; ей же принесет радость одно это веселье. Ведь так давно она не видела пляски, не слышала музыки.

Но вот заиграл Яшкин баян, и в круг на русскую плясовую выходит Сенька Мирошников. Позванивая четырьмя боевыми орденами, он молодцевато проходит по кругу и, кинув раз-другой своими черными глазами на девичьи платки, вдруг останавливается перед Ольгой.

— А ну, родная!..

Яркая краска смущения заливает щеки Ольги. Она растерянно оглядывается на Анюту: что ей делать? Но та уже ловит ее за руки и, радостно улыбаясь, тащит в круг, навстречу Сеньке.

— Ну, иди же, иди... норовистая!

Ольга пытается вырваться из Анюткиных рук, оттолкнуть ее прочь, безунывную озорницу, но сговор (а его Ольга теперь поняла) становится всеобщим, и ей волей-неволей приходится согласиться. Она выходит на круг, к плечу Сеньки, и, подбоченясь по-девичьи, вскидывает левую бровь. Уж ежели на то пошло, она покажет хуторским девчатам, как надо плясать.

Три раза зал просит Ольгу повторить танец. Задыхаясь, она падает на руки Анюты, чтобы передохнуть и успокоить сердце. Она смеется и плачет, и подружка долго не может понять, что случилось с ней в эту минуту.

Домой Ольга уходит уже поздней ночью, при первых петушиных песнях. Ее провожает Сенька Мирошников, невесть отчего вдруг ставший молчаливым и грустным. Перед калиткой он долго держит ее руку в своей рубцеватой ладони. Ольге приятно чувствовать его возле себя, но все же она спешит проститься.

Двери хаты оказываются незапертыми, и Ольга проходит к постели без лишнего шума. Спит ли свекровь, она не знает, но старается не глядеть в ее сторону. Где-то в душе она ощущает стыд и раскаяние. Зачем она пошла? Вот поднимется сейчас над подушкой старуха и скажет: «...Такая ты, значится. Не успела похоронить мужа, а уже замахала хвостом. А я-то верила...»

И Ольга не найдет слов, чтобы ей ответить.

* * *

Утро пришло рано, и Ольге не хочется подниматься с постели. Она долго лежит лицом к стене в беспокойной тревожной полудреме. Ей по-прежнему чудится направленный на нее укоризненный взгляд свекрови. Ставни кем-то уже открыты, и Ольге будет трудно одеться, чтобы не встретить этот взгляд. Она хочет выждать, пока старушка встанет, оденется и выйдет в сенцы кормить теленка.

Но, видно, не дождаться Ольге этой счастливой минуты, и она вдруг, решившись на все, стремительно сбрасывает к ногам одеяло. В самом деле, к чему она напустила на себя этот страх? Нельзя же все время глядеть на жизнь только сквозь слезы. Старуха уже прожила свой век, ей все равно, а Ольга молода и красива, и сердце ее полно хороших желаний. Потерянного уже не вернешь, значит, жизнь надо строить сызнова, и свекровь не должна, не имеет права мешать ей искать свое новое счастье...

И все же она несказанно рада при виде пустой постели на припечке. Старушка ушла из хаты еще до того, как Ольга проснулась. Значит, это она открыла ставни. Где же она сейчас? И как она нашла силы на такую долгую отлучку?

Прикусив в зубах шпильки, Ольга торопливо закручивает на затылке свою косу и выглядывает в окно. На мгновение весеннее солнце ослепляет ее глаза. Она прикрывает их сверху ладонью и, когда свет слабеет, удивленно склоняется к нижней шибке: согнувшись над железной лопатой, свекровь стоит в трех шагах от окна и старательно вскапывает землю вокруг засохшей акации.

— Зачем это, мама? — спрашивает громко Ольга.

Старушка приподнимает голову над лопатой, расправляет платок и долго смотрит через стекло на Ольгу.

— Как зачем? — отвечает она.— Весна на дворе. Пора.

— Да ведь все равно не отрастет.

— Отрастет,— нараспев произносит свекровь.— В молодом дереве жизнь не помирает. Подрубленное и то... и то отпускает листочки.

И, передохнув в разговоре, снова склоняется над лопатой.

Ольга глядит на свекровь, на сгорбленную и худую фигуру, и чувствует, как щемящая жалость подбирается к ее сердцу. Подрубленное дерево, если оно еще молодо, все равно отпустит листочки, а чего осталось ждать ей, семидесятилетней старухе? Она потеряла все, даже сына, и уже больше некому, кроме снохи, обогреть и обласкать ее старость. Ольга глядит на нее, и ей до боли становится стыдно за мысли, которые пришли в голову, когда она поднималась с постели...

* * *

Тихо в хате. Мирно стукают ходики в темном углу. Где-то у печки таится сверчок, он прозвенит раз-другой и замолкнет. Там же, у печки, слышится мерное дыхание уже уснувшей свекрови.

Ольга сидит у окна и долго в грустном раздумье смотрит через стекло на окутанный вечерними сумерками хутор, на вербы. Там опять играет баян и слышится веселая девичья песня. Так бы и улетела туда Ольга. Но нет, теперь она не уйдет больше из дому. Свекровь опять занемогла и вот уже седьмой день не поднимается с постели. За прошлое она не сделала Ольге ни одного упрека, но разве узнаешь, что у нее на душе? Может, оттого и занемогла.

А баян, как на грех, становится все ближе и ближе, и вскоре Ольга различает меж хат Анюту и Яшку. Они идут по той же дорожке, по которой шли к ней в прошлое воскресенье, шумные, беззаботные и веселые. Как и в тот раз, на Анютке Крамской синеет шелковая косынка, а на Яшкиной кубанке горит красная партизанская лента.

Охваченная тревогой, Ольга бросает на комод недовязанный чулок и, спотыкаясь о порог двери, выбегает за калитку. Ей хочется предупредить шум под окном, вернуть назад Анютку и Яшку еще до того, как до слуха свекрови долетят их голоса.

— Ради бога, не надо! — говорит Ольга, подбегая к Анюте.— Все равно я никуда не пойду... Не пойду никуда!

— Почему? — удивленно приподнимает свои белесые брови Анюта.— Ужель не надоело сидеть дома?

— Надоело,— с тихой скорбью признается Ольга, прислоняясь спиной к стволу акации.— Надоело. Но ты пойми, что я не одна, что со мной свекровь, мать Андрея.

Широкая улыбка расползается на розовых щеках Анюты. Она кладет на Ольгины плечи свои тяжелые руки и, загадочно сощурив глаза, склоняется к уху подруги.

— Милая,— шепчет она,— да ведь старушка сама... сама уговорила нас заходить за тобой. Жалко, грит, молодуху, кручинится дюже. На себя непохожа стала...

Ольга отшатывается от нее:

— Неправда!

— Врать буду, што ли,— смеется Анюта.— Ну, спроси ее самою, спроси...

Крупные слезы блестят на ресницах Ольги. Точно заколдованная, она долго стоит неподвижно, устремив взволнованный взгляд на ветки акации. Смотрит и не верит своим глазам — они и в самом деле уже осыпаны мелкой ярко-зеленой листвой...

ЛАСТОЧКИ

Утром, едва над землею расцвело июльское солнце, вокруг полустанка разлилось широкое марево. Своей призрачной синевой оно сразу затопило всю степь. Отдаленные курганы и скирды заколыхались на его трепетных волнах, словно рыбачьи лодки на водном просторе.

— Ваня,— с робким любопытством окликнул Петя задремавшего на траве друга,— и здесь фашисты были?

Ваня, парнишка лет тринадцати, неохотно приподнял над землей нечесаную белокурую голову и, сонно посмотрев на полустанок, сказал:

— Раз побитый вокзал — значит, были...

Петя вздохнул. На его курносом лице легкой тенью легла тихая грусть. Он о чем-то задумался и в своей опечаленной думе долго не отводил взгляд от уныло-рыжих развалин станционного здания.

В эти степные края мальчики заехали в поисках счастья. Их родителей убили фашисты во время войны: у Пети — в Смоленске, у Вани — в Старой Руссе; тому и другому жить было негде, и мальчики, слив воедино свою душевную горечь, умчались на юг. О юге у них еще с самого раннего детства сложилось представление как о красивом, богатом крае, может, лишь оттого, что в эту сторону каждый год на зимовье улетали говорливые журавли.

Но журавли, видно, держали путь за синие горы, которые виднелись вдали, а мальчикам ехать дальше не позволили. Их ссадили с поезда и как задержанных «зайцев» отвели к начальнику станции. И трудно теперь было придумать на этой унылой и пустынной земле другую дорогу, другие надежды и счастье...

— Ваня, гляди,— сказал Петя.

— Ну, чего ты пристал?

— Гляди, волчата!

Ваня приподнялся, посмотрел туда, куда указал ему Петя. Невдалеке от них по пыльной дороге медленно ехала нагруженная бензиновыми бочками крестьянская телега в воловьей упряжке. Возле ее задних колес, как щенки, тихой и спокойной рысцой бежало трое волчат.

— Кажись, они,— проговорил Ваня.— А ну, бежим, посмотрим.

Мальчики поднялись и побежали по колючей траве наперерез подводе. Угрюмый воловщик посмотрел на оборвышей недружелюбно, но ничего не сказал:

— Дядя, они прирученные? — спросил Петя.

Воловщик кивнул своей запыленной головой, а мальчики, сразу ободрившись, радостно запрыгали возле подводы. Так близко они видели волчат впервые в жизни и в этой диковинной встрече совсем забыли о приказе начальника станции никуда не отлучаться.

А кругом по-прежнему колыхалось синее марево. Теперь оно еще шире залило степь, и гибкие волны его уже добегали почти до крайних домиков полустанка. Будто подмытая водою, железнодорожная водокачка странно приподнялась над землей и стала похожа на высокую башню.

Подвода перевалила за бугор и, обогнув широкую пахоту, круто свернула на проселок, проложенный через пшеницу. Только тут мальчики спохватились и приотстали от подводы. Воловщик на прощанье кивнул им головой и погнал волов быстрее.

Выждав, пока подвода скрылась из виду, мальчики сорвали несколько придорожных подсолнухов и, развеяв по ветру их оранжевые лепестки, повернули назад.

Но под бугром они вдруг остановились, засмотревшись в сторону чернеющих пашен. Там, возле невысокого кургана, заросшего густым желтым донником, расположился полевой стан тракторной бригады. Слегка приподнятый над землей на тяжелых железных колесах уютно белел вагончик с красным флажком на покатой железной крыше. Вокруг него валялись бензиновые бочки и бороны, а чуть в стороне, над черным полукружьем борозды, кудрявился молочно-белый дымок полевой печурки, а из распахнутой настежь двери вагончика то и дело вылетали ласточки.

— Знаешь что,— сказал Ваня, не отрывая взгляда от стана,— пойдем, попросим хлеба.

— Не дадут,— покачал головой Петя.

— Дадут, у них ласточки...

— Ну и что ж...

Ваня нахмурился и присел на траву, чтобы отыскать в своей пятке занозу:

— Раз возле них ласточки — значит, они добрые люди... Пойдем?

И снова с тайной надеждой поглядел на стан, откуда вместе с дымом поплыл густой аромат жареного лука.

Но вот из вагончика вышла высокая загорелая женщина в красной косынке. Она выплеснула из кувшина воду и внимательно посмотрела на мальчиков.

— Вы зачем рвете подсолнухи? — строго закричала она.— Вот нарву уши паршивцам...

— Да мы только по одному,— виновато ответил Ваня,— нам есть хочется...

— А вы откуда?

И когда осмелевший Ваня ей ответил, как-то сразу изменила голос и притихла.

Через несколько минут Ваня и Петя уже сидели за столом в прохладе вагончика и, отдуваясь, хлебали горячий душистый борщ. Добрая тетя Мария стояла тут же и, нарезая на тарелку хлеб, горестно говорила:

— Нету матери — нету и причалу. Сердешные... И што этот окаянный фашист наделал!..

Голос ее был растроганно-грустный; она закручинилась, словно от собственного горя.

Внезапно невдалеке от стана зародился глухой и тяжелый гул. Он быстро нарастал, глуша голос тети Марии и стрекотание ласточек возле вагончика. Мальчики насторожились и выглянули в дверь. Вздымая сизую пыль, из перелога выехали три гусеничных трактора. Они быстро обогнули некошеное пшеничное поле и, ярко блеснув на солнце лемехами плугов, направились к стану.

Мальчики положили ложки и вылезли из-за стола. Запыленные люди, которые сидели на тракторах, показались им неприветливыми и злыми. Надо было бежать.

И они убежали бы, если б не тетя Мария. Она весело рассмеялась и, потрепав обоих за волосы, стала накладывать в опустевшие чашки гречневую кашу.

Тракторы остановились возле кургана, меж бензиновых бочек. Они еще погремели немного на месте и стихли. Чумазые люди неторопливо вылезли из крытых брезентом кабин и по одному, по двое стали собираться вокруг красной бочки с водой.

О чем разговаривала с ними ушедшая туда с мылом и полотенцем тетя Мария, мальчики не расслышали, но за стол трактористы стали садиться совсем не похожими на тех, которые сидели в кабинах. Вода сразу сделала их хмурые лица веселыми и добрыми. Остужая пахучий борщ, они наперебой задавали Пете и Ване вопросы, а один из них, чубатый и черный, как цыган, с розовой веточкой шрама на левой щеке, начал рассказывать про свое детство, как и ему когда-то довелось испытать невеселую сиротскую долю.

— Мыкал я горе, пока не пристал к рукомеслу,— говорил он, растирая в борще ложкой багряный стручок перца,— дружки мои так и пропали, а я вот...

И в черных его глазах блеснула едва уловимая гордость.

Мальчики ободрились и осмелели. В тени вагончика еще клубился послеобеденный сизый дымок махорки, а Ваня и Петя уже бесстрашно лазили по зеркальным тракторным гусеницам. Теперь у них не было другого желания, как покататься на этих машинах.

— Что ж, это можно,— ответил чубатый тракторист на просьбу Вани и Пети взять их с собой на пахоту.— Я сам с того начинал...

И он снова было повел речь о том, как обрел такую прекрасную специальность, но вскоре гулко загромыхал мотор переднего трактора и заглушил его голос.

День прошел для Вани и Пети незаметно. Они еще не нагляделись на плывущую мимо них степь, а солнце успело уже коснуться своим рубиновым краем земли. Еще не хотелось и есть, а над белым вагончиком подняли маяк — сигнал на вечерю. Оттого, что тракторы шли в последний заезд, мальчикам даже взгрустнулось.

На стан они пришли вместе с трактористами и вместе с ними долго плескались холодной водой у красной бочки. Ужин затянулся, и, когда, наконец, мальчики решили вернуться на полустанок, в небе ярко горели звезды.

— Как же так, милые? — сказала тетя Маруся, оста-

навливая их возле подсолнухов.— Я ведь уже с бригадиром договорилась...

И тут же приказала Ване и Пете лезть на ближнюю копну сена да и спать преспокойно.

И мальчики с радостью завалились в сено, еще сохранившее зеленую свежесть. Вечер был теплый и ясный, переполненный звоном незримых в траве сверчков, а от сена приятно пахло чабрецом и васильками.

Петя уснул сразу, уснул тихо и мирно, ни разу не содрогнувшись от какого-то давнего перепуга, а Ваня еще долго глядел на яркие Стожары, прислушиваясь к тихому гомону трактористов. Потом уснул и он, убаюканный звоном сверчков...

СИЛА ЖИЗНИ

Когда председатель колхоза Илья Ильич приподнялся над столом, чтобы закрыть собрание, кто-то на последней скамейке поднял руку и настойчиво потребовал слова. Все оглянулись. Постукивая о пол костылем, к столу президиума торопливо шел бригадир третьей полеводческой бригады Николай Чепурнов.

— Я по личному делу, товарищи,— сказал бригадир. Есть одно заявление... хочу изложить его устно...

Чепурнов заметно волновался. Говорил он нескладно, и сразу никак нельзя было понять смысл его заявления.

Дело оказалось вот в чем: на фронте у Чепурнова был боевой друг — Кожухаров. С ним он прошел от Москвы до Берлина.

Когда ворвались в Берлин, Кожухарова сразила разрывная фашистская пуля. Умирая, он просил Чепурнова не позабыть об его осиротевшей семье, поддержать ее.

Там, где жила его семья, фашисты испепелили всю землю. Жена и двое малолетних детей остались без крова. Если уцелеет Чепурнов до полной победы, пусть он разыщет их и заберет к себе в Сибирь, в неразоренный войной край.

Сразу же после победы Чепурнов не мог выполнить предсмертной просьбы своего друга. В последний день войны его также свалила на землю разрывная пуля, и

ему пришлось проваляться на госпитальной койке почти два года. Дважды писал семье Кожухарова, ответа не получал. Теперь, когда его здоровье окрепло, а посевные дела в бригаде завершены, он хочет съездить на родину Кожухарова. Колхоз, в котором работает Чепурнов, богат и благоустроен, люди в нем сознательные, добрые, и, конечно, не возразят, если семья погибшего воина вольется в их коллектив.

Заявление Чепурнова было выслушано с теплым вниманием. В зале стояла такая тишина, что было слышно, как за окнами шелестят листья берез. Когда Чепурнов смолк и присел на скамейку, Илья Ильич сказал:

— Нет, не возразим. Наоборот, упрекнем... Надо было написать нам об этом еще из лазарета. Сами бы сделали все...

И немного подумав, добавил:

— Так что... добро пожаловать!

* * *

Дорога была дальняя и незнакомая, но Чепурнов доехал очень быстро. В Москве на вокзале встретился попутчик — директор конзавода, возвращающийся из командировки в свои родные места; он-то и довез Чепурнова до полустанка Отрада.

Когда поезд скрылся вдали, Чепурнов перекинул через плечо свой фронтовой вещевой мешок и не спеша пошагал по дороге, ведущей в село. Надо было зайти в сельский Совет и отметить командировочное удостоверение, а заодно и узнать, где живет семья Кожухарова.

Только что прошел дождь. Вдали гремел гром, и в небе стояла едва заметная радуга. Прорвавшееся сквозь тучи вечернее солнце залило мир ярким оранжевым светом. На мокрых жестяных крышах хат, как в воде, отражались ветки акаций. Озаренные солнцем трубы казались раскаленными докрасна, а ветви акаций будто охваченные жарким пламенем.

Миновав элеватор, еще сохранивший на своих стенах щербины от осколков снарядов и бомб, Чепурнов отряхнул сапоги от налипшей грязи и достал папиросу. От вокзала по его следу шла группа отягощенных вещами людей. Их надо было обождать, чтобы войти в

село вместе. Чепурнов не хотел обманывать чьей-то надежды: он еще не снял с плеч фронтовой шинели и, если войдет в село одиноко, встревожит многих, а может быть, и ее, Галину Андреевну...

О Галине Андреевне Чепурнов сохранил самую добрую память. Она писала мужу такие ласковые и хорошие письма, что им радовалась вся пулеметная рота. Там находились строки, которые тепло ложились на сердце всем боевым друзьям Кожухарова. Галина Андреевна умела и утешить, и ободрить, и заставить еще сильнее возненавидеть врага.

В сельсовете Чепурнов утаил истинную причину своего приезда в Отраду: он сказал, что приехал проведать семью фронтового друга, Кожухарова, и председатель, уже не молодая, высокая и стройная женщина, пожала ему вспотевшую от костыля руку. Она отметила командировочное удостоверение и тут же, через окно, указала на белый домик в конце улицы.

— Идите только по той стороне, а то тут траншеи— водопровод прокладываем.

Хотелось минуточку задержаться и разузнать про семью Кожухарова побольше, но зазвонил телефон, а потом вошли двое мужчин с каким-то неотложным деловым разговором.

На дворе опять шел дождь. Капли падали с неба в ярком солнечном озарении. Было занятно глядеть на этот стремительный золотой вихрь, щедро усыпающий тихую и пустынную улицу.

«Значит, не уехали, значит, живут здесь по-прежнему,— подумал Чепурнов, радуясь близкой встрече с Галиной Андреевной и ее детьми.— Только обрадуются ли они? Может, уже забылось, а тут вдруг опять свежая душевная рана. Ведь станут расспрашивать — и не скроешь: расскажешь всю правду».

А правда была суровая. Пуля ударила Кожухарова как раз в ту минуту, когда он бросился с гранатой наперерез фашистскому танку. Оттащить его в укрытие не давали вражеские фаустпатроны, и он, истекая кровью, долго лежал на обожженной огнем мостовой. Перевязать его разбитую грудь удалось только вечером, но к тому времени он так ослаб, что уже не мог пошевельнуться, приподнять головы...

...На пороге Чепурнова встретила девочка лет деся-

ти. У нее были такие же глаза, как у отца. Она унаследовала от него даже прищур, тихий и ласковый, с легкой дрожью длинных ресниц.

— А я вас жду не дождусь, — сказала девочка, отгоняя ветловым веником залаявшего на Чепурнова лохматого щенка.— Проходите, пожалуйста, в хату.

Девочка не обозналась — Чепурнов это понял сразу. О том, что он придет, оказывается, по телефону сообщила сама мать, Галина Андреевна, как только Чепурнов вышел из сельсовета.

* * *

Домик, в котором жила семья Кожухарова, был только что отстроен, и в комнатах стоял густой запах свежей сосны. Этот запах не исчез даже тогда, когда Галина Андреевна раскупорила бутылку с пахучей вишневой настойкой, и, пожалуй, лишь оттого Чепурнов никак не мог решиться сказать, зачем он приехал. В тех домах, где пахнет свежей сосной, люди поселяются надолго.

— А было жутко,— рассказывала Галина Андреевна. — Когда вернулись из эвакуации, в нашей Отраде стояли одни печные трубы. Прямо растерялись — не знали, что делать, с чего начать. А тут весна — надо сеять. А чем, скажи, сеять: в закромах — хоть шаром покати, из посевного инвентаря — одна сеялка, да и та без сошников и колес...

Крепкая вишневая настойка разрумянила ее щеки, она это чувствовала и старалась держать свое лицо в тени самовара. Девочка жалась к ней, часто поглядывая на гостя.

— Все пришлось начинать сызнова... Конечно, нелегко все досталось, но, как видите... Мой сынишка — он сейчас учится в Суворовском училище,— когда ехал нас с Анютой проведать, не хотел сходить на Отраде: это, говорит, совсем не Отрада — она вся горелая.

Тут Галина Андреевна засмеялась, ласково отстранила от себя задремавшую Анюту и встала: всего не расскажешь. А то, что было рассказано, уже успокоило занывшее сердце.

— Пора спать. У нас скоро уборка, и я встаю рано.

И уже пошла к себе в спальню, как вдруг, будто что-

то вспомнив, остановилась в дверях и просто, как товарищ товарищу, сказала:

— А ведь вы-то... почти ничего о себе не сообщили: как вы устроили свою жизнь? Если еще не устроили, то сказать не стесняйтесь — я помогу. Работа у нас в Отраде найдется. Зажили по-человечески. Так что... добро пожаловать!

Когда угасла лампа и все стихло вокруг, в хате еще сильнее запахло свежей сосной. Вдыхать этот запах было приятно и радостно, и Чепурнов еще долго лежал без сна.

ЗОЛОТАЯ ЯРЛЫГА

В то утро мне нужно было повидать братьев Гурьяновых. Здесь в далекой приманычской степи сейчас к ним вели все дороги: за выдающиеся успехи в развитии тонкорунного овцеводства им только что было присвоено звание Героев Социалистического Труда. Написать очерк об этих чабанах требовалось немедленно, как говорят у нас, у газетчиков, прямо с колена.

Но добраться до их пастбищных участков дело не легкое — крюк в сторону Маныча почти в семьдесят километров — и ясно, застать на стане не удалось ни того, ни другого. Гурьяновы уже ушли со своими отарами в степь, уже исчезли в мареве из глаз. Выход оставался один: сидеть и ждать, пока они пригонят овец к колодцу на полуденный водопой и отдых.

Шофер, конечно, тут же завалился спать, и я, томимый жарой и одиночеством, решил перебраться из машины в тень кошары, где скучал какой-то старик, по всей вероятности, бригадный сторож. Степные люди — люди приветливые, они вступают в дружбу с тобой с первого перекура.

— Так, так,— раздумчиво сказал старик, охотно доставая своими негнущимися узловатыми пальцами папиросу из моего портсигара.— К нашим золотоярлыжникам, значит?

Старик оказался на редкость разговорчивым. Я не ошибся: он и в самом деле сторожевал здесь. Уже давно его «прогоняют» домой, на покой, но «дудки». Ведь тут в степи, среди овечьих отар, можно сказать, прош-

ла вся его жизнь. Тут все для него родное сызмальства. Да и с этими «золотоярлыжниками», как с ними расстаться? Братья Гурьяновы уже давно стали ему вроде кровных сыновей. Не спешил старик объяснить лишь одно: почему он все время называет их «золотоярлыжниками»?

— Длинно рассказывать,— усмехаясь проговорил старик, когда наконец понял, чем он меня так озадачил. — Но коль на то пошло, то уж ладно...

И вот какую историю я услышал из его уст.

* * *

...Курдыбан, фамилии такой не слышали, нет? В старое время это был самый богатый помещик-овцевод в наших местах. Тут, куда ни взгляни, все было под его ногой. Проскачешь по степи верхом на коне целый день, а его владениям конца так и не увидишь. Встретишь уже сотую отару овец, а ответ от чабанов все тот же: щепка[1] Курдыбана. Нажился на нашем батрацком горбу кровопивец так, что, видно, уже не знал, куда девать свое золото. Чего только не отчеканил себе из него. Даже ярлыгу.

Спрашиваешь, на кой ляд она ему понадобилась, эта ярлыга? А так, ради блажи своей. К нам, чабанам, на кошары, он, конечно, ее никогда не брал. Вместо нее, как обычно, держал в руке двойную калмыцкую плеть со свинчаткой, а вот в Москву когда уезжал, прихватывал ее каждый раз. Чтобы похвастаться перед всякими там господами: глядите, мол, какой я работяга— со своей чабанской ярлыгой не расстаюсь даже на Тверской-Ямской...

После революции турнули мы, конечно, этого работягу. Но с чертогона соскочил вечный хмель, видно, вовремя: все перевернули мы вверх дном в курдыбановской усадьбе, а ярлыгу его так и не нашли...

Ходили разные слухи. Одни говорили, что свою ярлыгу Курдыбан еще раньше переправил за границу, другие — что упрятал ее тут, в наших местах. Якобы где-то закопал в землю.

---

[1] Расколотая вдоль дубовая чурка. Одна половина у хозяина, другая — у чабана. Щепка служила в ту пору неподдельным документом на собственность той или иной отары.

Так понемногу о ней, об этой курдыбановской ярлыге вроде забыли. Давно забыл, конечно, о ней и я. И так не вспомнил бы, наверное, о ней уже никогда, если бы не эти братья Гурьяновы. Да, да, если бы не они, эти разбойники!

В то время им было лет по пятнадцати, не больше. Это в тот год, когда они появились в моей чабанской бригаде. Смотрю: крутятся и крутятся на стоянке какие-то хлопчики. Неделя прошла, а они не уходят: и кормятся, и спят у меня. Ну и пусть, думаю. Сам в малолетстве любил убегать из дома куда-нибудь в степь. В летнюю пору в степи веселее, чем дома: тут и вольный ветер, тут и костры, тут и песни, лучше которых нигде не услышишь.

Я уже привыкать стал к этим хлопчикам — такими они слухменными и теплыми мне показались, как вдруг, ненароком присев в тени кошары, слышу за хворостяной стенкой их какой-то скрытый шепот... Один спрашивает другого: «Где ж он ее хоронит, старый хрыч? Может, так же, как и Курдыбан, зарыл в землю?» «Не думаю,— доносится ответ,— зачем ему закапывать ее в землю, раз Пал Палыч все доподлинно знает. Она, наверное, у него под постелью. Туда нам заглянуть нужно».

Что к чему, я вначале не понял. Проясниться всему в голове помогнула моя ярлыга. Только взял ее я в руки и враз в грудь мою будто кто плеснул кипятком. Так вот каким ветром прихлестнуло ко мне этих хлопчиков. Они ищут у меня золотую ярлыгу Курдыбана. И надоумил их на это не кто иной, как сам Пал Палыч Светличный, наш тогдашний секретарь партийной ячейки колхоза.

Знал бы ты, дорогой, товарищ, какая злая обида забуянила во мне супротив этого Светличного. Неужто он думает, что я человек на руку нечистый? Да и откуда он взял, из каких таких фактов, что курдыбановская ярлыга все-таки найдена, и найдена не другим кем-либо, а мной.

Такую напраслину я, конечно, стерпеть не мог. Тем же часом обратал своего маштака и умчался в село. Я сказал себе: если Светличный не даст мне ясного ответу, поскачу в райком партии. Решаю: до Москвы дойду, а докажу, что я был, так и остался отечества своего патриот.

Залетаю в кабинет нашего Пал Палыча, едва помня себя, да как крикну: — Что за воронье «кра»? Ветру веришь? Дупло у тебя в голове, коль подумал про меня такое! До новых веников, кричу ему, тебе не доказать, что золотую ярлыгу я таю от государства на своем стане,— кричу Светличному во весь голос: — до министров дойду!

Думал вспужается, а он, волк тебя заешь, даже бровью не пошевелил. Сидит за своим кумачовым столом и на меня никакого внимания. Уж после того, как дочитал газету, сказал:

— Не горячись, Иван Иванович, напраслины тут нет никакой. Я тем хлопчикам, которые сейчас живут на твоей чабанской стоянке, сказал правду. Истинную правду.

— Хорошо,— говорю с еще большим запалом, — раз так утверждаешь, то немедля крути свою телефонную ручку: пускай выезжает ко мне вся милиция. Пускай она почнет искать сама. И ежели найдет на моем стане эту ярлыгу, я позволяю тут же закопать меня живым в землю.

Усмехается. «А зачем ее искать,— отвечает,— ты же с ней не расстаешься. Она, говорит, и сейчас у тебя в руках...»

«Эге, думаю, тут уж я докажу свою безвиновность, товарищ Светличный. Хоть на грудях у тебя полно золота за Берлины да Будапешты, но в самом золоте ты не смыслишь ни капельки. Курдыбан — во какой, быка валил руками на землю, а даже и он способен был носить свою ярлыгу лишь перекинутой через плечо — такой она, должно быть, была тяжелой. Мою же ярлыгу можно было поднять одним пальцем».

Тут уж усмехнулся и я. «А ну, пойдем,—говорю,— на весы. Требую, говорю, взвесить мою ярлыгу хоть для блезира. Да не один на один, а при старых, мозговых людях. Может быть, и поймешь, чем отличаются овечьи кругляшки от орехов?»

«Что ж, пойдем,— отвечает.— Пойдем, коли ты отрицаешь»,— да так по-серьезному, что я даже сробел: уж не накликал ли я на себя настоящей беды? Ведь наш Светличный мужик был и умственный и заслуженный, он так с кондачка не брался ни за одно дело. Умел наставить на путь истины всякого.

Екнуло у меня под ложечкой еще сильнее, когда увидел, что Сетличный взял шаг не к амбару, где стояли весы, а прямехонько к колхозной конторе. И пока я дошел с ним до этой конторы, наверное семьдесят семь дум передумал. Да еще никак не пойму, что вдруг сталось с моей ярлыгой: то и не примечал ее в руках — такой казалась она легкой,— а тут уже едва-едва нес ее на плечах.

Заходим это мы с Пал Палычем в контору, и к кому ты думаешь? Прямо к бухгалтеру. Там слышу: «А ну-ка, Петр Петрович, отыщи все счеты и пересчеты старшего чабана Трояна за последние пять лет. Только включай сюда все: и тонкую шерсть, и приплод, и тех элитных баранов и маток, которых мы продали на племя из его отары нашим советским и чужестранным братьям».

Тот малый был разбитной: щелк, щелк на своих олощенных костяшках — вот, дескать, смотрите, коли потребовалось это так безотлагательно.

Я еще ничего не сооображил, а Пал Палыч Светличный уже взял меня за грудки: «Ну, говорит, теперь отвечай: воронье «кра» это или правда? У кого дупло в голове: у меня или у тебя? Лишние хвалы — отрава, но пора, наконец, самому понять, что у тебя ярлыга и в самом деле золотая. Ведь твоя чабанская бригада дала нашему колхозу миллион, понимаешь, за пятилетку — миллион рублей дохода?»



Повести

МАРЬИНЫ КОЛОДЦЫ

Стада угоняли на зимние пастбища. Их гнали за Маныч, на знаменитые Черные земли. Там, на бескрайних прикаспийских просторах, стояла еще не тронутая трава — тысячи тысяч гектаров подножного корма. Там пасти стада можно до самой весны, до новых зеленых трав на пастбищах родной стороны.

Стада шли по дорогам и днем и ночью — отара за отарой; и не было в степи места, не окутанного поднятой овечьими копытами пылью. В хуторах, лежащих вдоль отгонной трассы, ни на час не прекращался шум и гомон. Блеяли овцы, звенели ботала, стучали колеса арб и вагончиков. Трудно было перейти улицу, проскочить до родной калитки. Чтобы добраться с ведрами до криниц, приходилось перелезать через чужие плетни, топтать чужую капусту. О привычных вечеринках у хуторских прудов нечего было и думать; на их берегах почти круглыми сутками шел водопой.

Минула неделя, минула другая и третья, а стада все гнали и гнали. И все туда же, за Маныч, на далекие Черные земли.

Птицы улетали на юг, а стада шли на север.

* * *

Секретарь партийной организации колхоза Орленко сразу же, поднявшись с постели, уходил в правление колхоза. В такой ранний час, до начала занятий, было приятно посидеть там в тишине и одиночестве среди книг и газет.

Вот и сегодня он пришел сюда, едва за околицей села стих рожок пастуха. Но, войдя в коридор, он вдруг заметил возле самых дверей уже ожидающего его плечистого парня. В одной руке он держал картонную папку с бумагами, а в пальцах другой — дымящуюся папиросу.

— Вы кого ожидаете? — стараясь скрыть досаду на этого нежданного посетителя, спросил Орленко.

Глаза парня блеснули радостью.

— Вас, товарищ Орленко. На одну минуту...

— Что ж, заходи,— открывая дверь кабинета, ответил Орленко. — Туши свою папиросу и заходи.

Осторожно положив на край стола папку, парень снял фуражку и старательно разгладил ладонями свои до блеска черные волосы. Лицо у него было слегка скуластое, но с правильными чертами: лоб высокий и чистый, нос прямой, губы тонкие. Глаза его смотрели открыто и ясно, но почему-то неспокойно.

Следовало спросить, кто он, откуда, но Орленко промолчал. Хотелось самому вспомнить, где он его видел, где встречал. Этот черный чуб ему был знаком.

— Ну, слушаю.

— Я с жалобой,— поборов смущение, сказал парень.

Орленко прикрылся ладонью от лучей только что взошедшего и заглянувшего в окно солнца.

— Говоришь, с жалобой? На кого же?

— На нашего бригадира Василия Ивановича Агеева.

Теперь Орленко вспомнил, кто сидел в его кабинете. Это был чабан овцеводческой фермы колхоза Андрей Яковенко. Несмотря на то, что он закончил местную среднюю школу с серебряной медалью, он из Раздольного никуда не уехал. Подал заявление не в институт, а в колхоз с непременным условием направить его на работу в овцеводство.

— Что ж, давай выкладывай.

В глазах молодого чабана беспокойство сменилось открытой тревогой.

— Нет, не могу — я ее вам оставлю.

— А что такое?

— Заругается Василий Иванович. Через час мы выводим свою отару на отгонную трассу. Опять идем зимовать на Черные земли.

Орленко откинулся на спинку стула, солнце теперь почти ослепило его.

— Ладно,— сказал он.— Оставляй. И встал, чтобы пожать этому славному парню руку.

* * *

Стада угоняли на зимние пастбища, и каждый, кто шел по отгонной трассе, немного грустил. Ведь что ни шаг, то все дальше и дальше отодвигались в глубину синего марева знакомые вербы и хаты; все шире и шире раскидывала впереди свои края белополынная степь. Еще один переход — и все, с чем люди сроднились еще с детства, исчезнет из глаз на долгие, долгие дни.

Может быть, и не было бы этой грусти, если бы не осень. Кругом, насколько хватал глаз, уже лежала желтая степь. Травы еле заметно качались по сторонам, будто устали качаться. Примолкли жаворонки, затих суслиный пересвист. Пустынно и тихо было также и в небе — еще недавно заполненное звоном птичьих песен, теперь оно висело над головами безмолвным серым шатром. Там раздавалась лишь редкая и невеселая перекличка улетающих за белые горы запоздалых журавлиных станиц.

...Когда отара подошла к водопойному колодцу, Андрей Яковенко раскинул на склоне кургана свою бурку и прилег отдохнуть. Отсюда еще можно было видеть вербы, возле которых он расстался с Катюшей. Правду ли она сказала ему у этих верб? Дальше проводить не смогла, но при расставании сказала: «Я буду ждать тебя, мой хороший!»

«Эх, Катюша, Катюша,— думал с тоской Андрей,— Неужели ты правду сказала мне на прощанье?»

* * *

И проводила б Катюша Андрея дальше, возможно, дошла бы с ним до самого водопоя, да надо было спешить. На три часа в больнице была назначена операция; из плеча тракториста, участника Отечественной войны, предстояло извлечь осколок снаряда. На рентгеновском снимке ясно обозначался кусочек металла. Катюша даже диву далась: как это парень мог работать на тракторе с таким страшным осколком.

Была и другая причина расстаться с Андреем не у колодца, а под ближними вербами. Не хотелось, чтобы на обратном пути повстречался отец. Он мог уже вернуться из правления колхоза и пустить своего коня вдогонку отарам. Старик догадался бы сразу, зачем так далеко от села уходила его дочь.

Следом за отарой Андрея пошла другая отара; и Катюша, чтобы не оказаться в облаке поднятой овцами пыли, свернула на грейдерную дорогу. Шла она по ней и, оттого что все время оглядывалась назад, чтобы еще и еще раз помахать Андрею платочком, не заметила, как из Раздольного ей навстречу выплыл чабанский вагончик. Его везла пара крупных круторогих быков. Возле ярма, размахивая ременным батогом, шагал дед Трофим, а на передке вагончика сидели две женщины, покрытые новыми ситцевыми платками. Одну из них Катюша узнала сразу: то была арбичка чабанской бригады Матрена Ивашкина, но другую узнать никак не могла.

Кто такая, эта другая, Катюша припомнила лишь возле выгона. Вспомнила — и тут же точно жарким ветром ударило ей в лицо. Люба Воротникова! Та самая, которая приехала из города следом за ней, — ныне зоотехник овцефермы колхоза. Та самая, что на вчерашних танцах в клубе почти не отводила светящихся глаз от лица Андрея. Высокая и стройная, с волнистыми, ловко забранными в тугой узел белокурыми волосами,— Люба Воротникова.

Нет, не надо было б идти назад по дороге. Уж лучше б ей идти напрямик, через пыль, навстречу отцу. Какими бы глазами ни посмотрел на нее суровый родитель, они все равно не оставили бы в Катюшином сердце столько тревоги и боли.

* * *

За околицей Василий Иванович немного сдержал коня. Тьма была такая, что в трех шагах терялась смутная лента дороги. Ее приходилось угадывать по звону щебня под копытами лошади. К тому же в лицо хлестал ветер и забивал пылью глаза.

Еще ни разу Василий Иванович не уезжал на Черные земли таким обиженным и рассерженным. Как рас-

каленное железо, жгли написанные его помощником Андреем Яковенко слова: «Агеев не понимает, что повысить продуктивность наших овец можно только так, как мною сказано выше». Это он, Василий Иванович, не понимает! Да Василий Иванович возле овец уже сорок лет, на овечьем тырле[1] и побелела его голова. Если подсчитать, сколько он за свою жизнь вырастил овец, получится шестизначная цифра, живое море получится. Ступить негде будет в этой степи от тех овец.

Это он, Василий Иванович, не понимает! Уж коль на то пошло, Агеева, как лучшего овцевода, знает вся страна, а кто знает тебя, паршивца? Одна дочка Катюша, да и то не за дело, а за твои кудри.

Да и Орленко... Был он ростом не выше стола, когда Василий Иванович Агеев выходил из Раздольного со своим партизанским отрядом на бой с белогвардейцами. Как раз вот отсюда, из-за этого бугра, что чернеет сейчас по левую руку, и зацокал тогда пулемет. Шкуро рассчитывал с ходу одной сотней сбить залегших у околицы раздольненских хлопцев, да не вышло. Тут, где-то у бугра, и закопали эту грянувшую на партизанские окопы с гиком и свистом неудалую шкуровскую сотню. Дней пять потом вылавливали окрест перепуганных и подраненных лошадей; если не изменила Агееву память, седло, на котором он сейчас скачет, сохранилось в колхозе еще с того молодецкого времени.

Бок о бок с таким человеком, как Апанасенко, бился за Советскую власть Василий Иванович. Тот уже был генералом, а его не забывал: каждый раз, когда приезжал на побывку в родную Митрофановку, всегда заходил к своему бывшему эскадронному. Прославленный командир до конца своих дней помнил, как однажды Агеев, не жалея собственной головы, прикрыл его от белоказачьих шашек. Помнил все — оттого и навещал.

Знал бы это Орленко, он не разговаривал бы с ним таким тоном. Прежде чем попрекнуть седой головой, надо б ему было спросить, отчего она поседела.

А он так и сказал: «Ведь у тебя, Василий Иванович, уже белая голова». Так и сказал: «Уже поседел, а не можешь понять, что ты не прав...»

---

[1] Тырло — место полдневной стоянки овец.

* * *

У Соленой балки Андрей приказал подпаску Соловейко остановить отару. Надо было переждать, пока по главной отгонной трассе пройдут со своими стадами кабардинские животноводы. Они захватили дорогу еще с полдня, и теперь по ней живым и шумным потоком лились и лились овечьи отары и обозы.

Кабардинцы перевалили через ближний увал и скрылись вдали только в сумерки; и Андрею волей-неволей пришлось скучить овец, чтобы поставить их на ночевку.

Тяжелы чабанские ночи, но вот минул третий год, а еще ни разу Андрею не пришла мысль разлучиться с отарой. Да и как это можно? Ради чего же он тогда провел на этом ветру столько бессонных ночей? Сейчас в его отаре шестьсот семьдесят шесть мериносов, и среди них нет, кажется, ни одной овцы, которую бы он, Андрей, не отогревал после рождения в холодные дни ранней весны под своей буркой. Нет, он и впрямь уже полюбил свое дело. Если б он его не любил, разве б он разлучился с Катюшей на такое долгое время, разве б он решился пойти на такой открытый скандал с ее отцом? Не поддержит его Орленко — он напишет жалобу в райком партии, а все равно своего добьется.

Из этого раздумья Андрея вывело рычание собак и шелест травы. Он насторожился и, перехватив на изготовку ружье, обернулся. Роняя на траву красные искры от самокрутки, к нему шел дед Трофим.

— Хотя бы костер развел,— недовольно сказал старик.— Малость не заплутал.

— Не надо отставать от отар,— не сдержался Андрей,— видел же, как мы вышли на трассу.

— Не ослеп, конечно,— словно не угадывая нарочитой строгости в голосе Андрея, продолжал тем же тоном ездовой.— Да моя разве воля? С Матреной бы не нянькался, а с этой новенькой, не дюже поспоришь. Когда, говорит, дам команду, тогда и тронешь быков.

Он раздраженно кинул себе под ноги раздуваемую ветром самокрутку, затоптал ее сапогом и протянул вперед руку.

— Давай ружье, постою. А ты шагай. Там уже разов пять вызывала тебя наша аппаратура...

Узнав, где остановился бригадный вагончик, Андрей скинул с плеч бурку (еще простудится дед!) и быстро

зашагал по направлению к темнеющим вблизи курганам. Кто-то вызывает его по рации. Кто же. И зачем, по какой причине?

Двери вагончика оказались распахнутыми настежь, и оттуда вместе с ярким светом аккумуляторной лампочки лилась едва уловимая танцевальная музыка. Включенный радиоприемник был хитро приглушен. «Это Воротникова уже хозяйничает,— невольно подумал Андрей.— Только выехали из дому, а она уже начала разряжать аккумуляторы. Похоже, не понимает, что впереди зима».

Но по той встревоженной поспешности, с какой Люба выключила радиоприемник, когда завидела на пороге нахмуренного Андрея, стало ясно, что она это знала и понимала. Она просто не выдержала первой ночи в темной и грустной осенней степи.

Пока немного, но кое-что Андрей уже слышал об этой девушке. Она только что закончила сельскохозяйственный институт. До этого находилась на фронте, там была тяжело ранена, отчего до сих пор при ходьбе чуть припадала на левую ногу. В городе Любовь Николаевна якобы случайно встретилась с председателем колхоза Мироновым, который ездил туда по служебным делам, и еще тогда договорилась с ним, что после учебы приедет именно сюда в колхоз имени Апанасенко. Ей высылали из общественной кассы дополнительно к стипендии по сто рублей в месяц почти два года. Когда бухгалтер начинал протестовать и доказывать, что это против закона, Миронов морщил лоб и говорил, что мол, ничего, Куприяныч, не обеднеем, что, мол, придет время — отработает она у нас все до единой копейки... «Что ж, посмотрим, как она их отработает,— подумал Андрей еще тогда, когда встретился с ней первый раз.— Вот завезем ее на Черные земли...»

Не взглянув на своего нового зоотехника, Андрей прошел к столу и привычным движением руки включил рацию. И в самом деле, кто вызывает его и зачем? Уж не случилось ли что-либо дома?

— Диспетчерская Апанасенко! — крикнул он в зазвеневшую наконец трубку.— Диспетчерская!

Видно, диспетчерская родного колхоза была настороже, потому что в трубке почти тотчас раздался женский голос:

— Я — двадцать два. Прием.

Андрей доложил, что он находится у аппарата.

— Чувствую,— весело ответил тот же голос из диспетчерской.— Переключаю на телефонную линию. Так, говорите.

В трубке защелкало, затрещало, потом смолкло; и через мгновение Андрей услышал чей-то мужской голос:

— Товарищ Яковенко? Здравствуйте. Это я, Орленко.

Он кашлянул, кому-то сказал, чтобы на минуту притихли.

— Ну вот... мы тут ознакомились с текстом вашей жалобы.

Андрей затаил дыхание. Он никак не ожидал этого. Чтобы в тот же день его жалоба была прочтена и рассмотрена, чтобы в тот же день в партийной организации колхоза решили дать на нее ответ! Стараясь скрыть от Воротниковой свое волнение, Андрей отвернулся в угол и прилег грудью на стол. Ах, как эта Любовь Николаевна сейчас тут некстати! Он же не может скрыть от нее ничего.

— Ну расскажите коротко своими словами, что у вас там с Агеевым? И твердо ли вы настаиваете на своем.

— Да, товарищ Орленко, твердо. Слава мериносов колхоза имени Апанасенко долго не продержится, если будем идти по старой дороге. Пойдем по старой дороге — у наших мериносов останутся одни закрученные в кольца рога. И все потому, что Василий Иванович Агеев почти не думает о повышении продуктивности своего тонкорунного стада, ему лишь бы выше был приплод. Привела овца двойню — и все, а какими вырастут эти двойняшки, породными или беспородными, ему нет никакого дела. Главное — цифра.

Я, товарищ Орленко, — передохнул Андрей, — скажу прямо: все необходимо ломать, что узаконено на овцеводческой ферме нашего колхоза. Купленных еще в довоенные годы племенных баранов с фермы надо убрать, как уже не племенных, устаревших, а осеменение маточных отар производить баранами племенного рассадника — совхоза «Золотое руно». Сделать это нетрудно: рейс самолета, который доставит на Черные земли нужное семя, обойдется для колхоза совсем недорого.

Только при этом условии мы, чабаны, сможем сдержать свое слово...

— Хвалю, товарищ Яковенко,— делетело до слуха Андрея.— Ваше письмо непременно обсудим на бюро.

Звенящий шум в ушах от ударов крови заглушил последние слова Орленко. Но Андрей не стал переспрашивать. Все было понятно и так.

— Слушайте, Люба, Любовь Николаевна,—уже почти не помня себя от радости, от счастья, воскликнул Андрей.— Зачем вы выключили радиоприемник? Я сам сейчас плясать буду!..

* * *

Почему, Люба не знала, но ей очень хотелось, чтобы Андрей сдержал свое слово. В поисках подходящей музыки она перебрала все волны. Потерянное где-то в эфире «Яблочко» она так и не нашла, но, когда нашла «Камаринскую», Андрея в вагончике уже не оказалось.

— Сбежал! — весело захохотала арбичка Матрена.— Позорно сбежал!..

Позабыв выключить приемник, Люба торопливо накинула на плечи пальто и выбежала из вагончика. Она и сама не могла бы сказать, отчего вдруг ее повлекло за этим парнем, но повлекло так сильно, что она не сдержалась и крикнула:

— Андрей! Андрей Афанасьевич, подожди!

Андрей оглянулся, это Люба определила по вспыхнувшей впереди папироске. И по этой же вспышке огня поняла, что он не пошел дальше, остановился подождать, пока она подойдет.

«Что ж я ему скажу? — думала Люба.— Может, пока не поздно, вернуться? Конечно, надо вернуться».

Но она не вернулась. Наоборот, она постаралась ускорить шаги. А когда в темноте проступил силуэт человека, поймала себя на чувстве какой-то особенной, еще не изведанной радости.

«Ну что же я ему скажу?»

Но Андрей сам ее выручил. Он заслонил ее от холодного восточного ветра и сказал:

— Я знал, что вы меня остановите. Может, Матрена всего не поняла, а вы не могли не понять, о чем сейчас у меня шел разговор. Никак не могли, на то вы и учились. Нашу ферму хвалят, говорят, что это лучшая фер-

ма в районе. Как же, тут не какая-нибудь грубошерстная овца, а сплошной меринос. Гляди да радуйся. И радовался вначале. А теперь, как взгляну на отары, запекается в сердце кровь. Вот в соседнем совхозе, там не овца, а прямо кусок золота. Средний настриг — семь килограммов. Понимаете — семь килограммов! А у нас... И все потому, что Василий Иванович...

Ветер мешал Любе слушать, но она стояла возле Андрея, пока он не высказал всего, пока не пожелал ей спокойной ночи.

* * *

Рано утром отары догнал Василий Иванович.

Его заметили, когда он уже расседлывал возле вагончика своего коня. Лицо у него было хмурое и злое. Будто не замечая вышедшей на ступени с кувшином и полотенцем Матрены, умылся у бочки с водой и медленно зашагал к отарам.

Ветер стих. Привольно распахнутая под безоблачным небом степь словно замерла, остановила свое дыхание. Травы стояли неподвижные. На их пожелтевших листьях тускло играло негреющее, осеннее солнце. Под ближним увалом колыхалось прозрачное марево; оно то исчезало, то вновь заливало своей мягкой синевой золотеющий дол.

Пока Василий Иванович разговаривал с чабанами третьей отары, Андрей готовился к объяснению. Он не сомневался, что Агеев задержался в Раздольном из-за вызова к Орленко. Он не сомневался, что только поэтому приехал таким злым и неразговорчивым.

Они встретились на левом крыле головной отары, уже направленной на восток, к отгонной трассе. Не поднимая глаз, Василий Иванович холодно пожал руку Андрею и, устало присев на корточки, достал кисет.

— Кури,— сказал он, подавая Андрею кисет.— Серебрячок.

Покурить в открытой степи необыкновенно приятно. Табачный дымок здесь приобретает какой-то особый, неиспробованный вкус. Затянешься им — и так хорошо почувствуешь себя в эту минуту. Кругом, насколько хватает взор, лежит знакомое с детства приволье: увалы да балки, а над головой — голубой купол неба, такой голубой, что не оторвешь от него глаз.

Когда стряхнешь с папиросы огонек, трудно не заглядеться, как он, прожигая сухие листья чабреца, начнет вскидывать бойкую ниточку сизого дыма. Обеспокоенные муравьи забегают по земле, кузнечики застукают о голенище, а рогатая, в золотистых крапинках, гусеница заторопится на самый верх надломленной ветром былинки.

— Как тут дела?

— Все в порядке,— стараясь быть спокойным, ответил Андрей.

— Волки не подходили?

— Нет, не подходили.

Помолчав, Василий Иванович с тихим вздохом взглянул на солнце.

— Свою отару особливо не торопи,— сказал он.— Нынче заночуем у Соленых Колодцев.

— У Соленых Колодцев?

Легким щелчком Андрей сбил со своего колена сверчка и встал. Трава зашелестела под его сапогами. Придавленный каблуком куст полыни хрустнул и осыпался на землю дымным семенем.

— Нам все-таки надо торопиться, Василий Иванович. Сам знаешь, с отгоном запоздали почти на неделю. Пока доберемся до своего участка, настанет ноябрь.

— Ну и что ж?

— Нагулять овец надо до того, как гнать их на осеменительный пункт.

— На пункт,— утомленно усмехнулся Агеев.— А на кой черт тогда колхоз тратил тыщи на собственных баранов?

— Не зря тратил!

— Так в чем же дело?

— А в том, Василий Иванович, что эти бараны уже не годятся. Устарели они для наших овец.

Агеев глянул из-под бровей на Андрея снизу вверх через плечо и опять усмехнулся.

— Не пойму, никак не пойму,— сказал он.— И где ты успел набраться такой грамоты? Уж не эта ли приезжая... как ее? — Любушка — просветила тебя?

Андрей промолчал, с трудом сдерживая раздражение. Глаза его неспокойно блеснули. Старик эту фразу сказал с явным намеком на то, что совсем не относилось к делу.

— Нет, не она,— ответил он, выпрямляясь. — Но скажу вам, Василий Иванович, откровенно: без этой грамоты я нынче работать не буду.

— Не буду, — повторил он, не сдержав досады, и, круто повернувшись, не прощаясь, ушел.

* * *

Но что случилось там, впереди? Что за верховые встретили третьяка Соловейку, и почему они вернули отару с главной отгонной трассы?

Андрей ускорил шаги. Солнце било ему прямо в глаза и мешало разглядеть этих вынырнувших из-за горизонта людей. Удалось лишь заметить, что под ними добрые рыжие кони, а за плечами винтовки.

«Странно,— думал Андрей.— И особенно странно, что его третьяк Соловейко не поднимает с ними скандала. Он вдруг забегал и затормошился меж овцами как угорелый».

Завидев Андрея, головной верховой отделился от своих товарищей и резвым наметом направил коня в его сторону. По всему было видно, что это главный: на его груди висел большой военный бинокль, а левый рукав выше локтя перехватывала темно-зеленая повязка с силуэтами дубовых листьев.

— А что, товарищ,— по-приятельски крикнул он,— круто осаживая коня.— Не найдется ли, случаем, махорки? Прокурились мы, так сказать, в дым...

Андрей остановился.

Ну и смешной же вопрос! Да разве ж чабан уходит на зимние пастбища без махорки? Конечно, она найдется. Вот только непонятно,— тут Андрей сразу нахмурил брови,— по какой такой причине завернута отара и где на то взяты такие права?

— Права, товарищ, дадены властью, — щуря свои улыбчивые глаза, ответил верховой.— Вам тут, видно, нет ни конца ни краю, и каждый, кто ни едет, норовит прогнать свои стада напрямик. Должен сказать: отвыкать вам теперь надо ходить напрямик. Вытаптывать черенки никому не позволим, так и знайте.

Наверное Андрей покраснел, так как ясно ощутил в эту минуту огонь на скулах. И как он не догадался раньше, что за люди задержали его отару! Зеленая по-

вязка с листьями дуба на рукаве — разве этого не достаточно, чтобы понять, кто они такие? Хорошо еще, что объездчик ему не знаком, а то дошло бы до Раздольного, узнали бы там, как хотел Андрей свои отары провести прямо через молодые государственные, совхозные и колхозные лесопосадки!

— Сыпь, сыпь, не жалей, бо нас пятеро,— заглядывая в кисет Андрея, скалил ровные, белые, как перламутр, зубы объездчик.— Одного парня из своего эскадрона дам провести до контрольного пункта. Укажет, где надо пройти.

Объездчик не обманул. Он и в самом деле выделил из своей заставы одного верхового. Тот довел отары до самой лесной сторожки. Оказалось, что третьяк Соловейко был его армейским сослуживцем, и боевые друзья, искренне радуясь встрече, проговорили, дойдя до самых полосатых столбов прогона.

— А помнишь Костромина? — кричал проводник, сияя глазами.— Начальника нашего штаба? Вот был отчаюга!

— А Кочуру забыл? — перебивал его взволнованный Соловейко.— Это тот самый, который притащил из разведки фашистского генерала. Я с ним до Вислы дошел.

— А не знал ли ты сержанта Горелова? Уже после победы он шел по Берлину так это, хвативши на радостях, а ему навстречу сам Берзарин. «Ты что это?»— спрашивает генерал, а он откозырнул по всем положенным правилам и в ответ: «По Европе гуляю, товарищ командующий...»

Однополчане расстались, как родные братья. Они задарили друг друга подарками: на память о себе Соловейко с силой втиснул в руку объездчика серебряную табакерку, а тот, чтобы не остаться в долгу, отстегнул от ремня финский нож. Не оказалось у подпаска после этого расставания и зажигалки, зато теперь из его нагрудного кармана выглядывало самопишущее перо.

— Прикуривай,— сказал ему Андрей.— И беги наперед, на перехват отары. А тому белому деду, что стоит у шлагбаума, просигналь, чтобы убрался в свою лесничью сторожку. Неужели он не видит наших собак?

Разгоняя приотставших овец, Соловейко побежал вперед; а Андрей уперся ногой в невысокий придорожный столб, еще пахнущий свежей сосной, и плотно при-

крылся от яркого солнца. Было интересно посмотреть на обновленную степь. Здесь раньше от края до края лежала пустая, ничем не радующая взгляд солончаковая равнина, а теперь на ней буйно золотился молодой лес. Тысячи дубков и акаций раскинулись до самого горизонта. Бегут и бегут они вдаль, словно отбитые под шнур ряды саженцев, и, кажется, нигде нет им ни начала ни конца.

Что ж, расти, поднимайся как можно быстрее и выше, великая степная дубрава! Не для одной красоты переселили тебя на приманычский сухой солончак. Твои ветки должны преградить путь суховею — знойному дыханию восточных пустынь. Чем гуще будет твоя листва, тем богаче станет урожай на колхозных полях, тем краше заживут советские люди!

Может, кто и не увидит, как сомкнутся твои шумливые кроны, но Андрей увидит своими глазами. Даже не раз присядет на минуту-другую под тенистый навес дуба. Прислонится спиной к стволу и с тихой радостью в сердце послушает, еще никем не слышанный здесь, неумолчный зеленый шум.

— Эй, дед! — крикнул Соловейко, забегая в голову отары.— Отойди быстро подальше. Собаки порвать могут.

— Не задерживайся, проходи,— недружелюбно отозвался дед.— Не тебе учить меня уму-разуму. Молод еще!

Соловейко удивленно оглядел с головы до ног его нахохлившуюся фигуру.

— Я не учу, а предупреждаю. Ведь отвечать за тебя, батя, придется.

— Ты и так уж в ответе, — недружелюбие деда сменилось гневом.— Не затем здесь высажены деревья, чтобы ломать да вытаптывать их шпанкой. Видишь? — И он сердито стукнул палкой о землю, заставляя подпаска взглянуть на подломленный овцами тоненький ствол юной акации. Смутившись, Соловейко стал оправдываться и в то же время предупреждать старика об опасности: в хвосте отары идут злые собаки. Но дед упрямо продолжал стоять у межи. Он не сдвинулся с места даже тогда, когда отара стала вливаться в прогон. Лишь завидев Андрея, который шел последним, он запахнул плащ и ушел прочь.

— Чего он стоял как вкопанный? — спросил Андрей подпаска, когда отара уже минула лесные посадки.

— Да черенки свои охранял, страшился, что вытопчем,— весело ответил Соловейко.

Подпасок готов был посмеяться над дедом; но Андрей не сдержался, чтобы не оглянуться и не проводить растроганным взглядом согбенную от прожитых лет фигуру. Ведь знает же, что не доживет до того времени, когда здесь вырастет лес, а трудится, бережет на полосе каждую веточку.

* * *

До чего ж широка эта благодатная пастбищная сторона! Пусти коня во весь опор, скачи день, два, скачи неделю, целый месяц, но так и не увидишь ее края.

Край называют Черные земли. Отчего они «черные» — непонятно. Эту раздольную сторону скорее всего надо было бы назвать «зеленой». Зеленые, а не Черные земли! Травы, что произрастают здесь, не подвластны временам года — они зеленеют и весной, и летом, и осенью, а порою и зимой.

А сколько названий этим травам! Вот пушистыми султанами покрыл склон балки белый ковыль, внизу пахучим ковром стелется чабрец. Вон из-под взволнованной ветром гряды вечнозеленеющего золотургана выглядывает тимофеевка, аржанец, овсяница, мятлик. Желтый донник стоит в стороне, как вскинутый штормом морской бурун, а за ним, насколько достанет взгляд: то полынь, то чедыргин, то типчак, то дикая голубая люцерна. Великое раздолье здесь овцам. Животные забирают губами траву с горячей жадностью. Привыкшие к движению, чабаны почти весь день бродят по одному и тому же кругу, меж тех же самых, уже надоевших глазам, красных шапок татарника.

Приходит осень, прилетает с восточным ветром зима, а на Черных землях, как и прежде, шумит и колышется густое, пахучее разнотравье.

* * *

Пастбищный участок, отведенный для овцеводческой фермы колхоза имени Апанасенко на Черных землях, с давних пор в Раздольном называют Марьины Колодцы.

Не говорят, что Василий Иванович Агееев и вся его ферма сейчас на Черных землях, а говорят, что она — на Марьиных Колодцах. А если овцеводы находились на Марьиных Колодцах, то вообще нечего было и думать повидаться с ними. С ними можно было связаться только по рации, но ее включали по распоряжению председателя или секретаря партийной организации колхоза и то лишь в том случае, если дело было важное, неотложное.

Вот поэтому Катюша долго не решалась идти в диспетчерскую колхоза. Она пошла туда лишь после того, как узнала, что ни председателя, ни секретаря парторганизации сегодня в правлении колхоза нет и не будет, а у рации дежурит ее подруга Глаша Завьялова.

— Марьины Колодцы! Вас вызывает диспетчерская двадцать два! Вы слышите, Марьины Колодцы?

Андрей был так далеко, что Катюше даже не верилось, что сейчас оч услышит ее голос. Долетят ли туда ее слова? Тем более, что на дворе дождь и ветер, что деревья безудержно шумят, а на крыше правления яростно грохочет кровельное железо.

— Марьины Колодцы! Вы слышите, Марьины Колодцы?

Марьины Колодцы! О них вспоминает сейчас Катюша рассказ покойной бабушки. А от рассказа у нее до сих пор по спине пробегает холодная дрожь. Темная громада черноземельской степи; и в этой степи бродит одинокая, всеми забытая раздольненская красавица Мария. Косы у нее до пят, брови гнутые, как радуга, а в глубоких и ясных глазах цветут васильки. Любила Мария, любила того, кто пришелся по сердцу: русокудрого, стройного и веселого парня-подпаска. Но у парня не было ни кола, ни двора, и Марью решили отдать замуж за сутулого придурковатого сына помещика Курдыбанова. Марья рвет на себе волосы, обливается горячей слезой, сохнет в тоске, как степная былиночка; но она еще не знает, что ее русокудрый подпасок давно лежит с пробитым черепом в яме за конюшней помещика, что сверху над ним зарыта издохшая курдыбановская собака, чтобы никто не разгадал такого злодейства. Марья об этом узнает не сразу; а когда, наконец, узнает, убегает из дома и пропадает без вести. Где она, родители узнают лишь осенней порой. Обезумевшая

Марья, как привидение, бродит по отгонным пастбищам и разыскивает своего Емельяна. Чабаны ее убеждают, что его давно нет на свете, но она никому не верит. В конце концов Марью находят в одном из водопойных колодцев с давно отцветшими васильками в потускневших глазах...

Не оттого ли называются так эти далекие Марьины Колодцы?..

А Глаша уже поздоровалась с Андреем и сообщила ему, какая в Раздольном погода. Она уже радовалась тому, что донеслось ей в ответ:

— А у нас, Глаша, луна. Все видно как днем. В траве можно иголку найти.

— Это уже не Глаша, это я, Катя...

— Катя? Как ты туда попала?

— Мне поговорить с тобой надо, Андрей! — Катюша прильнула к трубке, забыв обо всем: о том, что ее слышит Глаша и что могут услышать за стеной в бухгалтерии.

— Андрей, с пятнадцатого ноября мне дают отпуск. Слушай, что я решила: я приеду на это время к вам, на Черные земли. За отцом присмотрю... и, может, уговорю его поехать на курорт... Я же знаю: он мешает тебе.

Наступила долгая пауза.

— Андрей, ну чего же ты молчишь?

Тихо. Катюша жадно ждет ответа, но слышится чье-то глубокое дыхание. Неужели это Андрей задышал так тяжело? Нет, это ветер ворвался в радиоволну. Ветер, ветер...

— Андрюша!

Молчание и тишина. Ночь вся в грохоте непогоды, в блеске молний, в шуме деревьев и трав — и тишина. Тишина такая, что ясно слышен ее тягостный звон.

— Андрюша! Это я... Прием.

И вдруг совершенно спокойный и чистый голос, знакомый голос Андрея:

— Нет, Катя, не надо.

— Почему не надо? — взволнованно крикнула Катюша.

— Понимаешь... у нас сейчас слишком много работы. Да и Воротникова — наш зоотехник — не разрешит посторонним...

Катюша осторожно положила трубку на стол. Все! Она это предчувствовала, она это знала.

Глаша пыталась ее успокоить, уверяла, что тут какое-то недоразумение, технические неполадки в аппарате; но Катюша вся в слезах, уже трепетавшая от подступавших рыданий, ничего не хотела слушать. Она убежала из диспетчерской, не попрощавшись, не закрыв за собой дверь, прямо под черный проливной дождь.

* * *

Решение партийной организации колхоза о перестройке племенной работы на овцеводческой ферме пришло на Черные земли раньше, чем добрались туда апанасенковские овцеводы. Газету, в которой оно было напечатано, Люба отыскала в центральной пастбищной точке уже в подшивке и изрядно потрепанной. Текст решения пестрел чьими-то пометками и жирно подчеркнутыми красным карандашом строками.

Люба читала и радовалась: вот где он, простор для исполнения заветной мечты,— что-то сделать такое, чтоб это не забылось на всю жизнь. Ведь, если откровенно признаться, она ехала сюда на работу не без тайной мысли — мысли о том, что и она когда-нибудь прославит себя как овцевод. Товарищи по институту совсем не зря перетянули ее с агрономического на зоотехнический факультет. Люба Воротникова, до сих пор никому не приметная Люба Воротникова — вот на тебе! — создатель новой породной группы тонкорунных овец на Ставрополье!..

Шла Люба с центральной пастбищной точки к себе в бригаду и чего только не передумала!

И уже сами Черные земли не казались ей такими унылыми, как в первый день приезда. Степь лежала вокруг, овеянная своей особой красотой.

А было уже не рано. Закат давно угас, и темно-синее небо сливалось с землей в беспредельный равнинный простор. Где-то на востоке сквозь легкие синие тучи пробивалась луна.

Волкодав Дымок первым заслышал приближающиеся шаги Любы. Он выскочил из вечерней тьмы и, радостно взвизгнув, лизнул Любин подбородок. Собака уже привыкла к девушке.

Люба ласково заговорила:

— Не спишь, значит? И не спи: тебе по ночам закрывать глаза не полагается... Возвращайся. Сейчас же возвращайся к отаре. Ну, кому сказала?

Но Дымок и не думал подчиняться. Он проводил Любу до самого вагончика. Лишь невдалеке от стоянки он чутко насторожился и резким толчком ног кинул в тьму свое упругое, как стальная пружина, тело.

Андрей встретил Любу на ступеньках вагончика. Он знал, зачем она ходила на центральную точку, и ожидал ее.

— Видела? — спросил он.

— Видела,— ответила Люба смеясь.

— И читала?

— Раз видела, то и читала.

— Тогда рассказывай. Рассказывай все по порядку. Я должен знать...

Она рассказывала, а Андрей уже рисовал в своем воображении ту весну, когда они добьются-таки своего. Представить это было совсем не трудно.

Едва над степью опустятся вечерние сумерки и все стихнет вокруг, в окно вагончика вдруг громко забарабанят палкой. Что это означает, все догадаются сразу; и не пройдет минуты — в кошаре возле оцарка соберется вся их чабанская бригада. Туда прибежит даже арбичка Матрена. Несмотря на ночь, всем захочется взглянуть на только что рожденных ягнят — первенцев новой тонкорунной породы.

Ягнята еще будут влажными, еще будут дрожать мелкой дрожью, а Андрей уже будет держать их на руках. Ярко осветив фонарями, их будут разглядывать и изучать как находку. Новое поколение мериносов будет выглядеть уже совсем по-иному, чем нынче. Новорожденные будут немного крупнее своих старших братьев. Когда принесут весы — гирь не хватит. А складки на шее... Они еще не видели их такими глубокими и так густо покрытыми нежно-серебристыми завитками шерсти. Ясно, что из них вырастут такие же крупные и пышношерстные овцы, как и в совхозе «Золотое руно», что их так же повезут на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку как рекордистов.

Люба, видно, угадала, о чем сейчас размечтался Андрей. Она тихо встала и скрылась за занавеской. И пра-

вильно сделала: едва скрылась, как скрипнули ступени и в вагончик вошел Василий Иванович. Если б она задержалась, старик мог бы подумать о них невесть что. А этого не хотелось.

Василий Иванович, как и прежде, был не в духе. О том, что он чем-то расстроен, Андрей догадался по его нахмуренному лицу. Не снимая плаща и шапки, старик прямо с порога направился в угол, к столу, где стояла рация.

— Что случилось, Василий Иванович? — учуяв неладное, спросил Андрей.— С кем хочешь связываться?

— С тем, с кем надо,— недружелюбно и зло ответил Агеев.— Буду требовать, чтобы убрали меня отсюда. Я тут теперь, похоже, не нужен.

Андрей поспешил отстранить его руку от трубки.

— Не кипятись, Василий Иванович. Сперва объясни нам, в чем дело?

Старик хитро прищурился:

— Это ты мне объясни... С каких это пор заимел ты право отменять мои распоряжения?

— Такого не было,— ответил Андрей.

— А твоя маточная отара? Почему она опять пошла в Верблюжью балку стравливать золотурган?

— Не стравливать, а пастись...

— Дозволь,— со злой досадой перебил его Василий Иванович.— А чем зимой будешь кормить своих овец? Тырсой, да?

— Сберечь золотурган — значит опять нам не видать настоящего приплода. Ведь овцам сейчас, перед осеменением, надо набраться сил...

— Выдумка! — наливаясь обидой и гневом, почти крикнул Агеев.

— Нет, это не выдумка, дорогой Василий Иванович,— послышался женский голос сзади.— Это практика и наука.

Агеев резко оглянулся. В просвете дверей под приподнятой цветной занавеской стояла Люба.

— Вот, Василий Иванович, она, эта правда. Не читали?

Агеев посмотрел на книгу, которую протянула ему Люба, и горько усмехнулся:

— Учить меня сговорились с Андреем, Любовь Николаевна? Зря. Я, милая, уже сорок лет, сорок лет воз-

ле овец. Вас обоих еще на свете не было, когда моя практика...

— Отошло то время, Василий Иванович, когда мы держались на одной практике. Нам сейчас, кроме практики, нужна и наука. И не какая-нибудь, а наша новая, мичуринская наука. Та самая, которая говорит: не жди милостей от природы, а бери их сам, своими руками.

— Э, бросьте вы мне тут сказки рассказывать, — отмахнулся от Любы Василий Иванович и отвернулся к окошку.

Всего можно было ждать от этого упрямого и твердого как кремень человека, но то, что случилось в эту минуту, показалось просто невероятным: старик отвернулся от Андрея и Любы, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы.

* * *

Теперь и Люба пропадала все дни где-то в отарах. Порой она не являлась даже и ночью; и арбичка Матрена, оставаясь в вагончике одна, заскучала. Она не первый раз зимовала на Черных землях, но еще не помнила, чтобы люди не находили времени даже пообедать. До этой поры все шло как-то тихо и слаженно, без лишних хлопот и скандалов. Едва поднимешь над крышей маяк — вот и Андрей, вот и Василий Иванович, через минуту-другую придет и Соловейко. Пообедают, прилягут на траве в тени вагончика, да возьмут тем часом и запоют.

А знал бы кто, как они поют! Душа обольется слезой, если затянут печальное. Ну, а если ударят веселую, ни за что не удержишься, чтобы не вскочить на ноги и не пройтись по кругу с платочком над головой...

А в этом году всем вдруг стало так некогда, что целыми днями никого не увидишь в глаза. Прибегут на часок вразнобой и опять убегут в степь, к своим отарам.

Вот и сегодня: Андрей и Василий Иванович так и не пришли, а Люба хоть и явилась, но пробыла вместе с Матреной не больше минуты. Она выдернула с книжной полки какую-то книжицу и тут же, словно ее подхватил ветер, унеслась в степь. Благо Матрена успела положить в карманы ее стеганки кусок хлеба и жареной баранины, иначе она так и осталась бы, неугомонная, голодной до ночи.

Заскучала Матрена и оттого часто-часто присаживалась на ступеньки вагончика погоревать. Погода стояла ясная, теплая. То было уже не лето, но еще по-летнему светило и грело большое степное солнце. После обложного дождя травы опять зазеленели, опять наполнили степь густым запахом мяты. Но чувствовалось, что это не надолго, на один миг: степь не помолодела, а лишь прихорошилась. В такую позднюю пору былой красоты уже не вернешь...

Присаживалась Матрена погоревать, вызвать в памяти пролетевшее, неповторимое. Не все были красивыми, а молодыми были все. Когда мать подпирала ворота лопатой, Артем перелезал через тын и, затаившись под акацией, шумно встряхивал ее крайнюю ветку. Матрена на цыпочках подходила к окну и, распахнув его, смело прыгала вниз на сильные и крепкие руки любимого.

Его руки всегда пахли бензином. Бригадир знаменитой тракторной бригады приходил к ней прямо с поля... Оттого и не мог задерживаться долго: едва завидит над крышей хаты взошедшую зорьку, испуганно отшатнется и скажет:

— Бежать надо, радость моя!

Она обвивала руками его могучую, как ствол тополя, шею даже тогда, когда на хуторе из мужчин почти никого не осталось. Давно все ушли на фронт, а ее Артем оставался дома. На его заявления с просьбой отослать в танковую часть из военкомата не отвечали, а если он поднимал скандал, вызывали в райком партии и давали «накачку». Понятия не имела Матрена, что это за «накачка», но по тому, каким угрюмым становился Артем после поездки в район, угадывала, что «накачка» горше полыни.

Но пришло время, когда загрохотали орудия и у перевалов Раздольного. И на родных полях запылали пожары и полилась кровь.

Артем не успел угнать свои тракторы на восток. Чтобы они не достались врагам, он, выждав ночь, загнал их в старые ямы археологических раскопок у подножия Лысого кургана и засыпал землей.

По сожженной пшенице трактористки ушли домой, а Артем ушел по дороге, которая вела к Волчьим бурьянам: другой дороги у него не было.

Так прошло время от лета до первых осенних морозов, от августа до ноября. В ноябре выпал снег и вдруг оставил возле заброшенного людьми полевого вагончика чьи-то следы. Это были следы Артема. Видно, томимый тоской по родным незасеянным пашням, по стану, по мазутному запаху, по тракторам, он приходил иногда из партизанского отряда наведаться: все ли лежит там на месте.

Артема выследили. Его схватили и со связанными руками доставили в хутор. Матрена сама видела, как его, продрогшего, уже почерневшего от мороза и голода, раздели и втолкнули в залитый ледяною водой подвал.

— Мы не будем тебя расстреливать,— сказал ему на второй день фашистский комендант,— ты укажешь, где зарыл тракторы, и мы отпустим тебя домой.

Артем ответил:

— Я не знаю, где тракторы.

Он повторил эти слова и после того, как ему проломили переносицу и выбили зубы.

Тогда комендант приказал выколоть Артему глаза.

Кое-кто и сейчас говорит, что в эту минуту он дрогнул. Но нет, он не дрогнул, не только Матрена этому не верит — все Раздолье. Не таким был Артем, чтобы подломиться, стать перед врагом на колени. Просто перед тем, как умереть, он хотел еще раз взглянуть на свой стан, на свои пашни, на знакомые с детства дали родной стороны. Хоть еще и не слышно было орудийной стрельбы на востоке, он крепко верил, что тут снова загрохочут его машины, снова запарует земля и зашумит, зазолотится колхозная пшеница.

Была бы ближе сейчас его могила — ходила бы Матрена туда каждый день. И не здесь бы, на ступенях пустого вагончика, заливала слезою она свою безутешную кручину, а там, возле белого камня.

Возле белого пятигранного камня с железной звездой наверху.

* * *

Но однажды горемычные думы Матрены нарушил нарастающий шум мотора. Она вздрогнула и оглянулась. Поблескивая бортовыми стеклами, из-за ближней скирды сена медленно выехала обрызганная дорожной грязью легковая машина.

О том, кто приехал, арбичка догадалась сразу. Машина была ей знакома: веер трещин на простреленном, видно еще в годы войны, ветровом стекле она не раз видела у подъезда правления колхоза.

— Ой, лышенько!— с испугом и радостью вскрикнула Матрена.— Да как же так... нежданно-негаданно?

И, вскочив на ноги, вихрем бросилась в вагончик, чтоб поправить постели, смахнуть с радиоприемника пыль, расправить половички.

Орленко вошел, не ожидая никакой встречи. Матрена посмотрела на него и смущенно опустила ресницы. Она даже не подозревала, что он такой молодой. Думалось увидеть солидного человека, с головой, уже охваченной сединой, а перед ней стоял легкий и стройный парень Артемовых лет.

— Ну, здравствуйте,— приветливо улыбаясь, сказал он.— Живы-здоровы?

— Живем — не тужим,— засмеялась Матрена.— Проходите, садитесь.

— О нет, спасибо. Спешу. Отары вашей фермы в какой стороне?

— Как же это так? С такой дальней дороги и прямо в отары! Проголодались же, небось. Да ежели узнает Василий Иванович, что я отпустила вас без обеда...

И, не желая ничего слушать, засуетилась, забегала по вагончику в искренней, доброй, радующей сердце заботе.

И гость не решился ее обидеть.

* * *

В тот день на долю третьяка Соловейко выпала горячая работа. Ему пришлось выхватить своей ярлыгой из гущи отары по меньшей мере двести овец. Заняться этим делом ему приказала Любовь Николаевна. Она неотступно шагала рядом и, когда Соловейко, изловчившись, притягивал к себе за заднюю ногу очередную овцу, долго осматривала и ощупывала ее испуганно вздрагивающее тело.

— Ну зачем вы, Любовь Николаевна, делаете такой перебор? — злился Соловейко.— Если опыт творить, можно выхватывать из отары любую. Ну, скажем, эту крайнюю. На ней верных шесть килограммов шерсти.

— Благодарю за совет,— хмурилась Люба.— Если тебе надоело ловить овец, так и скажи. Сама ловить буду.

Соловейко только горько усмехался и опять, как винтовку, вскидывал на плечо ярлыгу. С некоторых пор он стал робеть перед Любой. Тонкие стежки ее бровей и блеск, словно смазанных свежим лаком, насмешливых глаз все чаще и чаще стали вызывать в его сердце и тоску и тревогу.

Бедняга не подозревал, что глаза Любы стали насмешливыми оттого, что она уже разгадала любовь этого нескладного парня. А он не удался ни в чем. Лицо у него было словно высечено из ноздреватого камня — рябое и грубое. Квадратный подбородок едва не касался заросшей рыжей щетиной груди. Ходил он переваливаясь с боку на бок.

Выпущенная из рук овца уносилась прочь, как подхваченный ветром куст курая. Люба глядела ей вслед, а Соловейко смотрел на Любу: невесть чем опечаленная, она казалась ему в эту минуту еще краше. «И чего тебя занесло на овечье тырло? — думал Соловейко.— В артистки тебе надо б определиться. В театр, а не на тырло».

Думал одно, а чувствовал совсем другое. Сам радовался тому, что Любовь Николаевна не где-нибудь, а здесь, рядом с ним, что она сейчас разговаривает не с кем-либо другим, а с ним. «Приголубила б — на руках пронес бы тебя через все Черные земли. Ничего бы не пожалел ради тебя. Что б сказала, то и сделал. Только, видно, зряшная эта думка. Если и полюбит Люба, то не его, Соловейку,— не равняться ему с Андреем. Андрей парень что надо.

Может быть, она и его, Яковенко, не захочет приголубить, но он (тут уж Соловейку не проведешь!), он, Андрей, давно просиял оттого, что сдружился с Любой. И зачем он не уехал учиться в институт,— продолжал думать Соловейко,— зачем променял город на этот черноземельский бурьян?»

Думал так, а чувствовал совсем другое. Сам радовался тому, что Андрей никуда не уехал, что он сейчас здесь, на Марьиных Колодцах.

Наверное, осмотр овец не прекратился бы до самого заката, если бы не одно счастливое и в то же время

горькое для Соловейки обстоятельство. К отаре на легковой машине подъехал Андрей. Он усадил рядом с собой Любу и увез ее на стан.

* * *

Собрались на склоне кургана, возле тырла маточной отары. Люба присела на камень, Андрей прилег на полынь, как солдат на привале, а Василий Иванович задымил самокруткой, сидя на корточках.

Чуть задумавшись, Орленко откинул в сторону измятый стебелек горицвета и серьезно, будто сейчас только заметил притихших возле себя людей, сказал:

— Вы извините, товарищи, я ведь заехал к вам мимоходом. Ну, коль так случилось, расскажи товарищ Яковенко, как идут у вас дела?

Андрей вскинулся, как по тревоге.

— Я готов, товарищ Орленко. Но следовало бы не с меня, а со старших. Василию Ивановичу надо первому, а потом (он повел глазами на Любу), потом у нас теперь есть зоотехник.

Орленко остановил его.

— За выполнение решения партийной организации колхоза о внедрении новых методов в овцеводстве отвечают в первую очередь коммунисты.

Легкий холодок пробежал по телу Любы: видно, не доволен товарищ Орленко результатами их работы. Приезжая в отары, он долго расхаживал меж овец. Он обследовал тырло, колодцы и все пастбище, на обратном пути заглянул в кошары и на пункте искусственного осеменения просидел с Василием Ивановичем добрый час.

Видимо, то же самое почувствовал и подумал Андрей, потому что сразу переменился в лице. Он встал на колено и обеспокоенно взглянул на Любу. Но Люба опустила ресницы и не заметила обращенного к ней взора Андрея.

— Почему, например, вы, товарищ Яковенко, нарушаете в бригаде единоначалие?

Отступать было некуда, и Андрей с силой встал на ноги. Сведя над переносьем опаленные солнцем брови, ответил:

— Так это же для того, чтобы постановление претворить в жизнь,

— Да, но в нашем постановлении,— поднял на него спокойные глаза Орленко,— никому не дается право больше не считаться с опытом старых овцеводов. Наоборот, бюро потребовало от коммунистов-овцеводов выловить в этом опыте все золотые крупицы. Так же ведь?

— Это так. Но, Василий Иванович...

— Знаю, о чем ты, дорогой, хочешь сказать,— перебил его Орленко уже мягким, почти дружеским голосом.— Но Василию Ивановичу лишь нужных знаний недостает. К тому же он еще нездоров. Почему же вам, молодым, закончившим высшие учебные заведения, не помочь старику разобраться в его ошибках? Что он для вас — чужой?

Камень полетел в Любин огород, и она вспыхнула. Теперь Орленко смотрел на нее. Он ждал, что скажет по этому поводу зоотехник. Его чуть прищуренные от закатного света глаза таили колючую усмешку.

— Я ничего не скажу в свое оправдание, товарищ Орленко,— сказала Люба.— Получилось все оттого...

— А вы не робейте.

— Нет, нет я не робею,— просто не найду подходящих слов.

— Это оттого, товарищ Воротникова,— перебил ее Орленко,— что вы еще плохо уяснили свою роль. Зоотехник в чабанской бригаде — не только организатор производства, но и агитатор, проповедник преобразующего мичуринского учения. А, как мне известно, за все время вы не провели со своими товарищами по работе еще ни одной беседы,— он переглянулся с хмуро молчавшим, густо окутанным сизым табачным дымом Василием Ивановичем и вдруг спросил:

— Вы где вступили в партию?

— Перед боем на фронте,— тихо ответила Люба.

— В семьсот семнадцатом?

Люба удивленно вскинула брови.

— Да, в семьсот семнадцатом! А вы что... разве знаете его, этот полк?

— Здесь, товарищ Воротникова, собрались мы не вспоминать о былом, а обсудить очень важный вопрос. Партия призывает всемерно развивать овцеводство — и у коммунистов овцефермы нашего колхоза сейчас, пожалуй, не меньшая задача, чем у семьсот семнадцатого перед его атакой у деревни Пустошка.

Не меньшая! — повторил Орленко, устремляя на изумленную Любу уже полный доброй и ласковой улыбки открытый взгляд.

* * *

После этой беседы Орленко сразу же собирался ехать, но мотор его старой автомашины долго не заводился, и он решил пройтись пока по дороге пешком.

Сначала Люба сделала вид, что столкнулась с ним за водопойным колодцем случайно, но потом, когда Орленко остановился и посмотрел на нее задумчиво-понимающим взглядом, чистосердечно призналась, что бежала и едва догнала его.

К тому времени уже стемнело. Ветер ласково заигрывал с шумливыми травами. Спокойная, исчезающая из глаз равнина словно дышала: грудь ее то опускалась, то вновь с тихим шелестом поднималась над балками. Звезды еще не налились блеском, они мерцали в потемневшем небе едва заметными светлячками, но вечерняя зорька уже ярко пылала над горизонтом. Ее как бы удивленно вскинутые ресницы словно умыла роса — такими нежными и чистыми их Люба здесь еще не видела.

— Товарищ Орленко, — взволнованно заговорила Люба,— там я задала вопрос. Сама ругаю себя... хотела сдержаться, но не смогла. Ведь это все так дорого, так дорого...

— Знаю,— спокойно ответил Орленко.— Но про семьсот семнадцатый спросил я вас не только потому.

— Почему же?

Орленко повернул голову, скользнул глазами по затемненному лицу Любы и надолго остановил свой задумчивый взгляд на лучистой вечерней звезде.

— Потому что хотелось напомнить вам ваш подвиг под деревней Пустошкой. Только не подумайте, что и я там тоже был. Нет, я узнал это из ваших партийных документов.

Они помолчали.

— Вот и здесь вам нужно быть такой, какой вы были в семьсот семнадцатом. Если глубоко вдуматься, задача у нас сейчас почти та же: там, на фронте, на нас шли враги, а здесь — трудности. А зачем сейчас наша партия объявила поход за дальнейшее развитие тонко-

рунного овцеводства, рассказывать вам не стоит, я думаю, что знаете.

«Нет, он заехал сюда не мимоходом,— думала Люба.— Другой дороги, кроме дороги к ним, на Черные земли, у него не было. Не было, не было...»

И поглядела ему в лицо так, чтобы он почувствовал, что она не только с ним согласна, но и благодарна за такие слова.

Ах, как благодарна!

* * *

Спустя неделю на Марьины Колодцы вдруг пришла радиограмма. Председатель колхоза Миронов просил Василия Ивановича срочно сообщить о своем согласии ехать на теплые воды. Путевка в санаторий уже лежит в сейфе колхозного кассира. Она куплена для Агеева по совету и требованию местного врача.

— Ну, что отвечать? — спросил Соловейко, которому случилось принять эту радиограмму.

Василий Иванович промолчал. Он промолчал потому, что надо было подумать. Простуженные еще смолоду ноги ныли нестерпимо, а когда наступала сырая погода, их нельзя было ни разогнуть, ни согнуть.

И все-таки надо было подумать. Пока будешь ехать туда и оттуда, что натворит здесь Андрей со своей белокудрой? А ответ все равно придется держать перед колхозом ему, Василию Ивановичу. Андрей и его белокудрая останутся в стороне, это всегда так, а ему, Агееву, скажут: давай выходи к красной скатерти и объясняй. Ведь тебе, а не этим молодым да зеленым доверили лучшие маточные отары колхоза.

«Не поеду, — решил Василий Иванович. — Не хочу...»

Но вечером он остался доволен, что не высказал этой мысли вслух, на людях. Будто и небо было все в звездах, и ветер дул не с той стороны, откуда приходят дождевые тучи, а ноги заныли так, словно их сдавили в железных тисках. Тихо охая, он прилег на свою постель и, закрыв глаза, долго не откликался на зов Матрены идти вечерять.

«Надо соглашаться,— подумал он после того, как ему подали ужин в постель,— бо может случиться, что

не встанешь совсем с постели. Да, надо ехать»,— решительно качнул головой Василий Иванович. Но вслух эти слова опять не сказал: утро вечера мудренее.

* * *

Но где же они находятся, эти самые теплые воды? Говорят, они текут из-под горы, из-под какой же? Этой, что закрыла собой полнеба с южной стороны, или из-под той, что стоит дальше, разваленная на пять голых вершин? Если теплые воды где-то тут, уже близехонько, то почему же проводник вагона не говорит Василию Ивановичу, что пора забирать чемоданы и пробиваться к дверям?

Вагон был без полок, с одними диванами, он был ярко залит электрическим светом и мчался почти не шатаясь, не стуча ни сцепами, ни колесами, мягко и плавно, словно летел по воздуху. Все проносилось мимо с такой быстротой, что рябило в глазах. Стволы деревьев мелькали в окне, как спицы колес разогнанной под уклон тачанки.

Уже отодвинулись назад обе горы, а проводник не предупреждал Василия Ивановича готовиться к высадке. А забыть про него он не мог. Ничем не занятый, он то и дело поглядывал на Агеева, любуясь его прикрученными к борту пиджака орденами.

Выходил из вагона Василий Иванович самым последним. Дальше электропоезд не шел, и спешить было незачем. К тому же полагалось поблагодарить проводника, а заодно расспросить его, как отыскать в этом городе санаторий под названием «Крепость».

— Что, первый раз, папаша, приехали курортничать? — весело спросил проводник.— Кто с путевкой в кармане, те дороги не спрашивают. От вокзала их развозят по санаториям на автобусах.

Малый сказал правду: едва Василий Иванович сошел с перрона, к нему подбежала кудрявая девушка с красной повязкой на рукаве. Она приветливо улыбнулась и, выхватив из рук его чемодан, пригласила идти вслед за ней. Через минуту Василий Иванович уже сидел в красивом зеленом автобусе с мягкими кожаными креслами и внимательно следил, как шофер вертел руль то вправо, то влево, чтобы с разбегу не сорваться

со скалистого обрыва вниз, на прибрежные камни бурной и стремительной горной речки.

Так вот где находятся эти самые теплые воды! Стоит гора, а над горою еще гора; ближняя вскинулась над землею, как курган в майской степи, а дальняя — та уже сгорбилась, уже поседела, расползлась своими заснеженными склонами по всему горизонту. Вокруг ближней горы густо рассыпаны белые многоэтажные здания, утопающие в дремучей зелени сосен; а возле той, что издали напоминает собой огромный сугроб,— тишина и пустыня. Ближняя до самой своей макушки уже накрыта вечерней мглой, а снега дальней по-прежнему залиты ярким сиянием солнца.

Санаторий под названием «Крепость» и в самом деле напоминал собою старинную кавказскую крепость. Высокие зубчатые стены, сторожевые башни с бойницами, железные ворота. Но все это, похоже, было сделано не для того, чтобы сберечь себя от внезапных набегов; ясно, что это была блажь какого-то сиятельного богатея. Не пожалел этот богатей ни золота, ни людского труда, чтобы и здесь жить в такой же роскоши, как и в петербургском дворце. Не чаял и не гадал, видимо, этот самый князь или барон — бог с ним, как его там величать,— что придет Советская власть и его дворец станет собственностью народа, что в бархатных креслах красного дерева будет отдыхать простой трудовой люд, в том числе и он, Василий Иванович Агеев, чабан из раздольненского колхоза имени Апанасенко.

...Василию Ивановичу часто приходилось выходить на балкон покурить. На балконе он обычно оставался один, а одиночество здесь его тяготило. Стоило отойти от людей — и его сейчас же начинали одолевать тревожные думы о своей бригаде. Кто там его заменил? Неужели Андрей? Если велено принять на это время бригаду Андрею, знамо, не уйти от беды.

С этой думой и застал его больной из соседней палаты — седой остробородый старик в шляпе, с цветной узорной тростью в руке. Василий Иванович видел его уже не раз, но кто он такой, пока не знал.

— Ну, что ж вы, коллега, молчите? — вдруг воскликнул старик, глядя на Василия Ивановича с приветом и радостью.— Ведь я совсем случайно узнал: вы товарищ Агеев?

Василий Иванович растерянно подал старику руку.

— Хоть убей — не припомню...

— И не припомните, — смеялся старик.— Встречаться нам не доводилось, но я знаю вас давно. Словом, будем знакомы: я — научный работник, сотрудник Всесоюзного института овцеводства Филиппов. Может, приходилось читать мои статьи?

— Как же! — кивнул головой Василий Иванович, не смея признаться, что никаких статей Филиппова он не читал и его фамилию услышал в первый раз.— Газеты нам доставляют регулярно!..

Филиппов отмахнулся от табачного дыма и, как старый знакомый, присел рядом. Он был так обрадован этой встречей, что позабыл выпустить из своей руки руку Агéева.

— Хорошо, ну прямо чудесно, что мы увидились. О вашей бригаде в нашем институте уже столько разговоров! Не просто овцеводы, а овцеводы-новаторы. И правильно, дорогой товарищ Агеев: давно пора на деле доказать кое-кому общеизвестные истины...

— Какие?— не без удивления вскинул брови Василий Иванович.

— Во-первых, огромную значимость взаимодействия среды и организма. Мы, овцеводы-мичуринцы... Я ведь тоже из тех же мест, тоже в молодости был чабаном.

Агеев нахмурился. Как ни сложно высказал свою мысль профессор, но он его понял. Оказывается, ветер подул на его бригаду не из-за цветной занавески черноземельского передвижного вагончика, он подул еще и отсюда, от этого ученого.

«Так, так, — сокрушенно думал старик,— ясно, понятно...»

Но профессор не разгадал, отчего вдруг омрачился Василий Иванович. Он продолжал бурно радоваться тому, что видит вблизи себя прославленного чабана.

— Уж теперь-то я от вас не отстану, все выведаю о вашей бригаде! Как у вас складывается завтрашний день? Я, например, завтра свободен. Если и у вас завтра нет процедур, разрешите зайти к вам сразу после завтрака. Хорошо?

— Хорошо,— ответил Василий Иванович и встал, первый раз почувствовав озноб от здешней вечерней прохлады.

* * *

Хорошо зимовать со стадами на Черных землях!

Скирды сена, заготовленного косарями еще с лета, могут простоять до самой весны. Их раскрывать приходится только тогда, когда на степь упадет гололедка. А если нет гололедки, к этим скирдам подгонять гурты и отары совсем незачем: под ногами по-весеннему свежий нажировочный корм и столько его вокруг, что, кажется, за сотни лет не стравишь, не выбьешь эти на диво дремучие травы.

И если б не бураны, порой налетающие на пастбища, как гром с ясного неба, не найти более благодатного края для зимовки овечьих отар. Правда, они бывают не часто, но все же бывают.

Седеют чабаны, застигнутые такой бурей вдали от кошар.

* * *

С теплых вод Василий Иванович приехал помолодевшим, бодрым и разговорчивым. Казалось, он забыл все свои обиды. Ни Андрей, ни Люба не замечали в его глазах прежней озлобленности и насмешки. Старик глядел на них теперь открыто и просто, не хмурясь, не дергая ус, порой глядел так, что в этом взгляде явно угадывалась дружба и ласка. Старика будто подменили.

Но больше всего удивила Андрея и Любу перемена в его отношении к делу. Все распоряжения, которые отдавал Василий Иванович, не шли наперекор задуманным Андреем и Любой планам. Правда, вчера он опять накричал на Андрея, но теперь Люба не решилась выглянуть из-за цветной занавески. Журил он свою правую руку вполне справедливо: на такой ценной траве, как золотурган, нельзя допускать вольную пастьбу отары.[1]

И вот однажды утром Агеев сказал:

— Смотрел я наш договор с кабардинскими чабанами из колхоза имени В. И. Ленина. На мой взгляд, он уже не годится. Ныне нам другие условия надо.

— Почему? — не разгадав его мысли, спросил Андрей.

— По договору выходит: мы обязуемся бороться за

[1] Беспорядочная пастьба, приводящая к выбиванию пастбища.

то же самое, что и в прошлом году. А задача-то теперь новая. Сразу на три шага вперед скачок надо сделать.

— Это верно,— выглянула из-за своей цветной занавески Люба.— До чего ж это верно, Василий Иванович!

И подмигнула левым глазом Андрею: не молчи, мол, поддержи старика и ты.

* * *

Первым почуял приближение бурана Дымок. Еще с полудня он начал повизгивать и кататься по траве. Прогнанный от вагончика арбичкой Матреной, он не вернулся к отаре, а прилег на копне сена и жалобно заскулил.

— Перестань! — прикрикнула Люба, когда проходила мимо него, чтобы взойти на курган.

С вершины кургана она намеревалась взглянуть на дорогу. Василий Иванович и Андрей, уехавшие еще утром к кабардинским овцеводам для заключения нового договора, почему-то не вернулись даже к обеду. Просто казалось загадкой, где они могли задержаться.

Разгадать причину беспокойства волкодава Люба не могла. Но когда она, наконец, поняла, отчего вдруг потускнела и заклубилась черной пылью северо-восточная сторона неба, было слишком поздно. Как бы Люба теперь ни кричала, как бы быстро она ни бежала, все равно не успела бы предупредить неудалого Соловейко. В то время как другие отары уже вливаются в распахнутые двери кошары, маточная отара белела почти у подножия Буренного увала. Ее отделяло от стоянки не менее двух километров.

Дорога, на которой должны были показаться Андрей и Василий Иванович, как и прежде, была пуста, и Люба ясно ощутила ледяной холодок на спине. Она сразу оценила надвигающуюся беду. Один Соловейко не удержит отары. Под страшным напором ветра она сорвется с места и, перепуганная, ошалевшая, кинется бежать. Попробуй тогда ее нагнать, остановить и успокоить. Она будет мчаться, подгоняемая ветром, до тех пор, пока хватит сил, пока на пути не встретится буерак, пока с разбегу не влетит в какую-нибудь сагу.

Между тем ветер становился все сильнее и сильнее. Под его порывистыми ударами травы наклонялись уже

почти до земли. По небу наискось, снизу вверх, полетели тяжелые серые тучи. Клубясь и заматываясь в живые узлы, они опускались все ниже и ниже и вскоре слились с горизонтом в плотные мглистые сумерки. День померк. Перед глазами погнались друг за другом черные шапки верблюжьей колючки, дико понеслась и завыла у ног перемешанная с песком и снегом поземка.

Буран приближался невиданный, и Любу невольно охватил ужас. Она не знала, что делать. А надо было что-то делать, и немедленно, не теряя ни одной секунды. Матрена кричала: «Беги скорее ко мне в вагончик!» Но Люба даже не оглянулась на этот крик. Ведь самая лучшая отара колхоза могла сейчас погибнуть, бесследно исчезнуть в этой степи.

Нет, не к Матрене в вагончик, а туда, на увал, к Соловейко. Люба видела, как он заметался перед нахлынувшими на него овцами, как отчаянно замахал над головой шапкой, зовя кого-нибудь на помощь.

И Люба, кинув последний взгляд на дорогу, решительно, без колебаний сорвала с плеч пальто, сбросила с ног сапоги и в одной ситцевой кофточке бросилась бежать к Соловейко. Она бежала туда изо всех сил. Ее секло и гнуло ледяным ветром, но она не чувствовала ни боли, ни холода. Она забыла, что бежать ей нельзя, совсем забыла про свою старую, но до сих пор еще не зажившую рану,— бежала и не видела, что чулок давно уже почернел от крови, что кровь эта брызжет по сторонам, как сбитая с трав роса. Она задыхалась, в висках стучало, сердце словно хотело вырваться из груди, но Люба, напрягая все силы, продолжала бежать, не отставая от скачущего в ту же сторону встревоженного Дымка.

Она упала под самым увалом, в двадцати-тридцати шагах от того места, где паслась отара. На мгновение приподнялась на руках, чтобы взглянуть вперед, туда, где скрылся с овцами Соловейко, но тут же опять бессильно свалилась на траву.

* * *

Долго задерживаться у соседей намерения не было. Цифры нового обязательства знали и Андрей и Василий Иванович, не могли не знать их и кабардинские чабаны.

Дело должно было разрешиться без канители и спора в течение получаса.

Но не такой этот кавказский народ, чтобы отпустить своих гостей не солоно хлебавши. После того как договор был подписан, на столе, как на скатерти-самобранке, заискрилось вино и зарозовели яблоки. Как ни отказывались Андрей и Василий Иванович от угощения, сразу уехать им не пришлось. Их почти силой усадили за стол. Волей-неволей надо было смириться.

Волей-неволей пришлось сесть за стол.

Угощение затянулось: слишком были длинны тосты. Кабардинцы говорили их, словно пели песни; кружки с виноградным вином поднимались сразу и за здоровье, и за дружбу, и за процветание республик Российской и Кабардино-Балкарской; тут же воздавалась хвала Казбеку и Эльбрусу за то, что подняли свои вечно заснеженные вершины выше всех гор в Европе, чабанам, подпаскам и арбичкам — за их честную службу советскому народу.

Все оборвалось лишь тогда, когда на крыше вагончика, как грозовой раскат, загрохотало вздыбленное ударом ветра кровельное железо. Не нашлось никого, кто бы не понял, что это такое. Буран! На мгновение замерли, прислушиваясь к нарастающему шуму и вою, а потом, как по команде, вскочили на ноги и ватагой бросились к выходу. Но для кабардинцев тревога оказалась напрасной. Все их отары уже были загнаны в кошары. Теперь дежурные чабаны бежали к скирдам сена, чтобы перехватить их крест-накрест волосяными арканами.

— Неужто наши не учуяли этой беды вовремя?— сказал Агеев, мрачнея.— Взгляни туда, Афанасьевич, я ничего не вижу.

Охваченный той же тревогой, Андрей поспешно стал взбираться на крышу вагончика. Ветер долго не давал ему выпрямиться во весь рост. А когда, наконец, выпрямился, сам того не заметил, как схватился за голову.

— Сорвало! Скорее на перехват! Вот так, к камышам, что находятся слева..

Его не услышали, но поняли сразу — и все, сколько их было, и молодые, и старики, тотчас бросились к лошадям, спотыкаясь и путаясь в ременных поводьях и недоуздках.

* * *

Люба очнулась, когда уже было темно. Показалось, что она спала, и спала очень долго. На черном небе ярко горели звезды. Было тихо. Покрытые предрассветным инеем травы стояли не шевелясь. Степь словно затаилась, настороженно вслушиваясь в неожиданно наступившую тишину.

Стуча зубами от холода, Люба приподнялась на локтях и огляделась. Она не сразу поняла, почему она очутилась здесь, на этой заиндевелой земле. Все то, что произошло во время бурана, казалось ей плохо сотканным сном. Мучительно болела нога. Она распухла и не сгибалась. Всю ее, почти до бедра, жгло, как в огне.

— Дымок! — окликнула Люба собаку, но ей ответила тишина. Дымок, видно, не остановился, он умчался за отарой.

Встать было трудно, но Люба все же встала и пошла. Каждый шаг ей стоил больших усилий, тело простреливала такая страшная боль, что темнело в глазах. Сразу стало жарко, по лицу побежал крупный, как дождевые капли, горячий пот.

Вскоре Люба поняла, что дальше идти не может. Она присела на холмик и, прикрыв ладонями глаза, тихо заплакала. До горечи стало обидно за свои неудачи. Уже не сочтешь, сколько их было в ее жизни.

Долго она мечтала о поступлении в институт, а когда, наконец, сдала экзамены, разразилась война, и все полетело прахом. Три года мечтала дойти до Берлина, а когда до него было уже рукой подать, по ноге хлестнула разрывная фашистская пуля. Вот и теперь: думалось сделать на колхозной ферме прекрасное дело — уже и дорогу нашла, уже и ключ к нему отыскала — и вдруг опять все разлетелось на сотни осколков...

Не находя силы даже встать, она долго сидела на холмике без движения. Ночь была тихая, но холодная, в воздухе чувствовался первый острый морозец. С приближением рассвета мороз становился все крепче и крепче. Промокшая от пота кофточка Любы заснежилась по всем складкам, а рассыпавшиеся по плечам волосы стали белыми, словно внезапно поседели.

Все могло окончиться плохо — и Люба крикнула. Она крикнула изо всей мочи; но сколько ни ждала — ответа не было. Лишь тогда она поняла, что вместо кри-

ка из груди вылетал один хрип. Голос был сорван. Так, как кричала Люба чабану Соловейко, она еще никогда не кричала.

И тут вдруг Люба услышала овечье блеяние. Блеяла не одна овца, а целая отара. Ближе и ближе. Уже через минуту этот надрывающий душу ночной гам охватил всю степь. Овцы словно жаловались, что их так рано выгнали из теплой кошары, словно плакали по оставленному в кошарах теплу.

Овечье блеяние наплывало с вершины увала ближе и ближе, и вскоре в белой от инея тьме откоса Люба увидела отару. Овец гнали всадники, они громко перекликались друг с другом. Голоса были чужие, незнакомые, но свист на левом крыле необыкновенно напоминал свист Андрея. И глухой кашель впереди овечьей отары сильно был похож на привычный кашель Василия Ивановича.

Неужели это они?

Радостное ощущение надежды вернуло Любе силы и волю. Она встала, выпрямилась и поспешно стала скручивать на затылке в тугой узел волосы. Затем отряхнулась, натянула сползший с больной ноги почерневший от крови чулок, уголком воротничка протерла глаза. Ведь если это действительно насвистывает Андрей, то надежда оправдалась. Угнанная бураном маточная отара не погибла, ее удалось перехватить, спасти.

Сливаясь в неясную темную массу, овцы шли прямо на Любу. Их не торопили, и они шли медленно, волна за волной. Отара разрасталась и ширилась с каждой минутой. Теперь Любе оставалось ждать недолго: овцы скоро будут рядом с нею. Еще до восхода предутренней зорьки она узнает, ушло или не ушло от нее счастье...

И только успела Люба подумать об этом, как вдруг что-то большое и темное вылетело из зашумевшей травы. В эту минуту она почувствовала, что падает, сбитая резким толчком в грудь. В какую-то долю секунды удалось увидеть перед собой отливающие черным лаком глаза, ощутить шерсть, полынный запах. Горячий язык коснулся ее подбородка, и в тот же миг уши оглушил громкий лай.

— Дымок! — радостно воскликнула Люба. — Так это ты? Ты, дорогой?

* * *

Рано утром Андрея опустили в колодец. Надо было захватить на якорь водопойную бадью. Сбитая ветром со сруба, она рухнула с тридцатисаженной высоты вниз, оборвав волосяной трос, и затонула.

Эта беда была невелика. Покачиваясь на веревке, как маятник, в пяти четвертях от воды, Андрей думал о другой, настоящей беде. Час назад у Любы сильно поднялась температура, распухшая нога угрожала смертельной опасностью. Андрею не надо рассказывать, чем это может кончиться. В позапрошлом году его самого с такой температурой забирала скорая помощь. Только после операции он почувствовал, что несчастье миновало. «Без хирургического вмешательства ты не смог бы подняться», — сказала тогда Катюша, провожая его за калитку больницы.

Андрей покачивался на веревке в пяти четвертях от воды и то и дело вздыхал. Его нисколько не злило, что якорь не находил на дне колодца бадью: не сейчас, так через час все равно покажется над водой, повиснув на натянутом тросе. Бадью поднимут наверх вместе с Андреем и, если не сейчас, то через час опять прихватят за железную ручку крепким узлом.

«Нет, отары не останутся без воды,— думал Андрей.— А вот как помочь Любе, что сделать, чтобы спасти ей жизнь? Вызванный с центральной точки фельдшер, хотя и не отходит от постели больной, но вряд ли сумеет оказать ей нужную помощь».

Якорь, наконец, стукнулся о бадью. Спустя минуту, он зацепил ее и приподнял с глинистого дна колодца. Однако кричать наверх, чтобы натянули трос, без твердой уверенности, что бадья схвачена намертво, еще было рано.

Мысли о Любе не покидали Андрея. До Раздольного триста километров. Когда довезешь ее до больницы? Кому другому, а Андрею не надо рассказывать, что значит жар, вызванный потревоженной раной.

Бадья сорвалась. Якорь захватил ее лишь за обод. Взмутив воду, она опять погрузилась на дно.

Как же помочь Любе? Люба не должна так страдать. Все эти месяцы Андрей рядом с Любой чувствовал себя окрыленным. Андрей искренне тосковал и не находил себе места, когда ее не было рядом, только ря-

дом с ней он обретал уверенность, что все, что он делает, делает правильно.

Но куда же делась бадья? Без нее подниматься наверх Андрею нельзя: бадья — нужнейшая вещь. Она в работе целый день: вниз—пустая, вверх — наполненная водой. Целый день на колодце маячит фигура дежурного поильщика. Воды надо много: не десятки, а сотни бадеек — на каждую овцу не меньше двух литров в сутки.

— Не зацепил? — донеслось сверху.

— Пока нет!— ответил Андрей.— Похоже под сруб закатилась.

— Под сруб, говоришь? Ах, дрянь. Тогда приготовься, поднимать тебя будем.

Андрей удивленно посмотрел вверх. В крохотном просвете колодца, перевесившись через сруб, маячили люди. Они были так высоко, что казалось глядели на Андрея с неба.

— Почему поднимать, если бадья еще не зацеплена?

— Я спущусь, — послышался сверху голос Соловейко.— А ты пойдешь на стан. Фельдшер вызывает посрочному...

В колодце сразу потемнело. Туча ли набежала на солнце или уж слишком много навалилось на сруб заглядывающих вниз людей — Андрей не понял. Не понял он также, почему в колодце вдруг стало мучительно холодно. Во всем теле почувствовался такой озноб, что застучали зубы.

— Нет, помедлите малость,— крикнул наверх Андрей, поспешно развязывая туго затянутый узел веревки у поясницы.— Я сейчас по-иному попробую... другим способом.

Веревка, на которой висел Андрей, внезапно расслабилась, и все, сколько их там было у сруба: и Василий Иванович, и Соловейко, и ездовой Трофим — все ясно услышали, как что-то тяжелое бухнулось в воду. Сорвался? Так нет же, как можно сорваться, если веревка целехонька. Неужто решился нырнуть под нижний сруб, чтобы прямо руками вдеть якорь в кольцо?

Охваченные тревогой, люди навалились друг на друга, стараясь не оторвать глаз от далекого квадрата воды. Там теперь было тихо. Слышалось лишь легкое постукивание люшни о позеленевшие, заросшие древес-

ными грибами бревна сруба да звонкие удары сорвавшихся сверху кусочков льда.

— Ах, курицын сын, что придумал!..

— А что, если под срубом вымоина?

— Долго ли головой о гвоздь!

— Ну ни за грош пропадет парень!

— А уж пора бы, пора, братцы, ему показаться!

Ничего не сказал в эту минуту лишь Василий Иванович. Нахмурив лоб, он пристально глядел в глубину колодца и вспоминал своего дружка Афанасия. До чего ж похож на него сын! Тут повторились не только глаза и брови, повторилось все: и афанасьевская горячность, и его сметка и готовность, если надо, не задумываясь, броситься в огонь и в воду.

Ох, эти Яковенки! Еще в гражданской войне о них столько ходило в народе всяких рассказов. Почти в каждом партизанском отряде их было по целому отделению: или отец с сыновьями, или братья, или просто однофамильцы. И хотя часто между ними не было никакого родства, все они походили друг на друга: горячие, упрямые, гордые, смелые, рослые и плечистые. На привале все они — балагуры, весельчаки, любители песен и танцев, а в бою — не знающие страха рубаки. Уж если вырвутся Яковенки вперед, то тут их никто и ничто не удержит.

Вот и этот — сотая ветка на дереве, не задумываясь, бухнулся в холодную воду, под сруб. И не вынырнет — в этом Василий Иванович не ошибется — не вынырнет, упрямец, до тех пор, пока не захватит бадью на железный якорь.

Все ругались и кричали, в панике бегали вокруг сруба, а Василий Иванович глядел в темную глубину колодца молча, не шевелясь. «Вот увидите, вынырнет,— сказал бы он, если бы надо было это сказать.— Эти Яковенки... они двужильные и, сколько их знает Агеев, еще ни разу не помирали, когда бросались на верную смерть.

* * *

Андрей вбежал в вагончик уже в заледеневшей одежде. Матрена сразу поняла, что случилось: ахнув, она бросилась к сундуку и начала выбрасывать оттуда чистое белье, рубашки и брюки. Андрей был послу-

шен, как малый ребенок; он оделся в сухое, стал и тут же приподнял цветную занавеску.

— Войти можно? — спросил он стоявшего над постелью Любы фельдшера — высокого, плечистого, но очень худого, уже почерневшего от прожитых лет человека.— Я — Яковенко. Мне сообщили, что вы меня хотели видеть.

Фельдшер снял очки и вытащил из кармана носовой платок.

— Извините, это ей захотелось. Но сейчас она опять без сознания. Словом, ее может спасти только операция.

— Делайте, — сдвинул брови Андрей.

Фельдшер не мог не почувствовать в этом слове приказа. Перед ним стоял парень, который, похоже, прошел нелегкие дороги. Такому нельзя было не подчиниться. Но фельдшер сам был на фронте, сам прошел все громовые дороги войны и потому, не теряя спокойствия, тихо ответил:

— Это сделать может только хирург.

Глубокая тень легла на лоб Андрея. Он задумчиво прошелся по комнате. Затем, тихо вздохнув, приблизился к кровати Любы и осторожно тронул ее лежавшую поверх одеяла руку. Люба испуганно открыла глаза, но ничего не сказала. Видно, она не узнала его. Взгляд ее был воспаленным и бесконечно усталым.

— Что, плохо, Люба? — спросил Андрей, хотя знал, что она не ответит. Хорошо знал, что сейчас не дойдут до ее сознания никакие ободряющие слова, но сказал:

— Ты только крепись. Главное — духом не падай. И вообще все будет хорошо...

Некоторое время Андрей стоял молча. Потом, словно о чем-то вспомнив, резко повернулся к притихшему в углу фельдшеру и с той же решимостью в голосе, с какой приказывал приступить к операции, произнес:

— Не отходите от нее, я сейчас вернусь.

В трубке включенной рации долго хрипело и щелкало. Все стихло только после того, как у Андрея перестали дрожать руки. Припав к аппарату, он затаил дыхание и крикнул:

— Диспетчерская колхоза имени Апанасенко! Диспетчерская двадцать два! Отвечай, отвечай мне немедленно! Отвечай сейчас же. Речь о жизни!

* * *

Тяжелее этого дня еще не было. Все ходили нахмуренные, молчаливые, не замечая друг друга, не обращая внимания на необычно теплую и ясную солнечную погоду. Подавленное настроение ощущалось всюду: и на стане, и возле колодца, и возле отар. Почти никто не пришел на завтрак. Мужчины курили папиросу за папиросой, а Матрена то и дело убегала за занавеску, чтобы вытереть заплаканные глаза.

Тяжелее этого дня еще не было; и Василий Иванович, чтобы ничего не слышать и не видеть, ушел осматривать разваленные бураном скирды сена. Так он долго теребил и перетирал в руках, словно только вчера скошенное, пахучее черноземельское разнотравье, затем, наткнувшись на облитый солнцем разворошенный прикладок, устало прилег на него.

«И надо же случиться такому горю,— думал старик, почти с головой утонув в мягком сене.— Ведь все равно не догнала бы отару, ничего не сделала бы, чтобы ее завернуть. На конях и то едва удалось ее перехватить, сбить с направления к Соленому озеру. И надо же случиться такому горю...»

Лежать в сене было тепло и приятно, и Василий Иванович сам не заметил, как задремал. Он уснул бы здесь по-настоящему, самым крепким сном, да помешал комар. Д-з-з-з— и прямо над лицом, возле самых ушей. И откуда он взялся в зимнее время, этот проклятущий комар?

Да где же он? Василий Иванович уже обыскал глазами вокруг себя все, но комара так и не увидел. А тот по-прежнему: д-з-з-з — и все яростней и громче, будто взбесился.

А комар ли это? Насторожившись, Василий Иванович прикрылся от солнца ладонью и внимательно оглядел степь. Потом он поднял глаза в небо — и тут же, словно его кто толкнул в спину, вскочил на ноги. Верить ли своим глазам или не верить: чуть ниже солнца, блестя ослепительным серебром крыльев, шел самолет.

— Это к нам! — громко и радостно крикнул Василий Иванович, сам не зная кому.— К нам!

Он не ошибся. Над вагончиком бригады самолет покачал крыльями и, накренившись, заскользил вниз, описывая в небе стремительный круг.

Давно не бегал Василий Иванович. Думал, что уже не сможет сделать и двух прыжков, а тут вдруг так легко рванулся вперед, что не заметил, как оказался на своем стане, среди охваченных той же радостью людей.

* * *

С кем произошло несчастье на Черных землях, Катюша узнала еще в правлении колхоза. От этого щемило в груди всю дорогу. Она страшилась, что в момент операции ею овладеет чувство неприязни к больной. Если это произойдет, Катюша потеряет уверенность в себе, растеряется и не сможет спасти жизнь Воротниковой. Какими глазами ей тогда придется смотреть в глаза Миронова и всех тех, кто слезно просил ее бросить в больнице все и срочно лететь в Марьины Колодцы.

Сходя с самолета, Катюша с замиранием сердца смотрела на бегущих ей навстречу людей. Среди них был и Андрей. Она узнала его еще издали, узнала сразу. Он почему-то показался ей в эту минуту и стройнее, и выше своего роста. Держа фуражку в руке, он бежал впереди всех — радостный и счастливый, словно забыв, что между ними все кончено, что ничего больше не повторится.

* * *

В лицо ярко ударило солнце, и Люба открыла глаза. Она и не знала, что на закате солнечные лучи падают через окно прямо на подушку ее постели. А ведь она это любила.

В вагончике было тихо. Отчетливо слышалось тиканье лежащих на тумбочке ее ручных часов. Где-то за занавеской, в углу, видимо, из рукомойника, одна за другой срывались в таз капли воды. Та же тишина стояла и на дворе. До слуха Любы лишь доносилось дальнее блеяние отар и лай сторожевых собак. На минуту кто-то заговорил под окном, но потом перевел этот разговор на приглушенный шепот и удалился.

Матрена проявила о Любе бесконечно много заботы. Люба чувствовала под собой мягкий матрац, свежую простыню, взбитую подушку. Ноги были плотно укутаны теплым одеялом. На придвинутой к постели тумбочке

стояла кружка кипяченого молока, лежали белые сухари, горка шоколадных конфет.

Остро пахло лекарствами. Вся тумбочка была заставлена разными коробками и пузырьками. Рецепты поднимались над ними, как листья пахучего горицвета.

О том, что Любе была сделана операция, она поняла по нарастающей боли в ноге. Такую боль приходилось ей уже испытывать не раз, она была знакома ей еще с медсанбата.

Очень смутно, но все же Любе запомнилось, как черноглазая девушка в белом халате свела над переносьем свои тонкие брови и прикрикнула на Андрея. Мелькнувшая над занавеской его спина была в эту минуту такой сгорбленной, словно на нее легла непомерная тяжесть.

Пожалуй, если бы не овечье блеяние, Люба не скоро бы поняла, где она лежит и что с ней случилось. Казалось, приснился сон: к постели в белом халате подошла высокая стройная девушка, пощупала пульс и привычным движением руки откинула с больной ноги одеяло...

— Мотя,— сказала Люба, — а где же врач, который сделал мне операцию?

Арбичка перевела взгляд на окно.

— Собирается улетать.

— Так быстро? И я ее не увижу, чтобы поблагодарить.

Матрена покачала головой:

— Нет, Люба, она спешит. Разве только в окно...

Окно было рядом, и Люба, закусив губы от боли, слегка приподнялась. В первую минуту она ничего не увидела: так много блеснуло перед ней солнечного света. Но потом, когда прикрыла ладонью глаза, ясно различила стоящий невдалеке от вагончика самолет, а возле него Андрея и эту черноглазую девушку. Они держались за руки и смеялись, будто не прощались, а только что встретились, радуясь этой встрече, как счастью.

БУРУНЫ

Андрей приехал в Песчаный уже в сумерки. Вечер опустился на хутор хмурый и неприветливый, закутанный в рваное одеяло дождевых туч; невдалеке за пере-

логом гремел первый весенний гром, где-то блеяла овечья отара, и во дворах стоял тот тревожно-взволнованный гомон, какой зарождается обычно перед непогодой.

Почти всегда весна на Ставропольщине начинается рано, но долго не может утвердиться на привольных степных просторах. Теплый солнечный день, уже облитый кипучей весенней радостью, неожиданно сменяется ночью со снежной поземкой. Ветви деревьев, уже распустившие свои почки для жизни, вдруг покрываются тяжелой бахромой инея. Южные склоны перевалов беспрестанно меняют свою окраску: они то зеленеют, то снова одеваются снежной шубой. Зима упрямо не хочет уступать весне: уже обескровленная, она все еще находит силы по-разбойному пронестись по зазеленевшей степи и снова посеять немое и холодное оцепенение.

В этих краях Андрей очутился первый раз и потому долго глядел через окно хаты на странную картину. Стоял апрель — благословенная пора бурного пробуждения природы, первых цветов и неугомонных птичьих песен, а здесь было все тихо и мертво. Земля, насколько хватал глаз, казалась запорошенной сизым пеплом. В перелогах узкими лентами лежал посеревший снег, на курганах уныло покачивался ржавый прошлогодний бурьян. Редкие деревца были еще голы; печально свесив свои почерневшие ветви, они качались из стороны в сторону, будто кручинились о чем-то. Скворечник на крыше белой школы тоскливо глядел со своей высоты на неприветливый мир, и, казалось, для того и раскрыл свой рот, чтобы крикнуть в отчаянии: где же скворцы, где же солнце, где весенняя шумная радость, которым давным-давно пора прийти на эту землю?

Хутор Песчаный лежал в неглубокой степной балке с песчаными голыми склонами. На ее плоском дне извивался узкий овражек, наполненный талой водой. Пробегая вдоль улицы, он метался из стороны в сторону, точно вспугнутая змея — то к одной, то к другой хате — и только за околицей, немного успокоившись, медленно уползал под густые кусты низкорослого краснотала.

— Что вы, голубок, приуныли? — раздался за спи-

ной Андрея тихий и ласковый голос.— Али умаялись в дальней дороге?

Андрей оглянулся. В комнату входила та же старуха, которая привела его в эту хату. Она несла ему ужин. На цветном деревянном подносе в плотном кольце белоснежных яиц стоял похожий на голубя чайник, а под салфеткой чернели ломти хлеба.

— Может, не нравятся наши края?..

Она привычным движением рук опустила поднос на стол и заботливо, словно родная мать, пододвинула всю еду Андрею. И, чуть отойдя в сторонку, снова спросила:

— Не нравятся?

Андрей поднял на старуху глаза, чтобы понять скрытый смысл ее вопроса. В нем он почувствовал какую-то настороженную тревогу. Старуха словно страшилась услышать от него откровенное признание.

Была она небольшого роста, полная, с высокой грудью — олицетворение доброго материнства; ее синеватые глаза смотрели на Андрея с лаской и теплотой.

— Слов нет, глушь у нас. Всегда, кто приезжает из города, впадает в грусть. А нам в удивление: уж и не знаю—то ли привычка, то ли тут родное гнездо, а, кажется, лучше нашего края нигде не сыщешь.

Андрей не ответил, а старуха, видно, заметив его усмешку, тихо вздохнула и пригорюнилась. Она стояла в этой смиренно-задумчивой позе, пока Андрей не закончил ужин, и только, когда он встал из-за стола, встрепенулась и сказала:

— Ничего, поживете маленько—пообвыкнете. Скучно бывает только без дела...

* * *

После ухода старухи Андрей достал из чемодана конверт с почтовой бумагой и стал писать письмо. Его содержание он обдумал еще на пути в хутор. Надо было изложить все в горячих и убедительных фразах, способных растрогать каждого умного человека. Он сын покойного профессора Панкратова — доктора сельскохозяйственных наук, прославившего себя выведением новых сортов пшеницы. Кто же, как не Андрей, вы-

росший в отцовской лаборатории, должен продолжить это замечательное дело? Ради него он покинул изостудию и пошел по дороге отца. К моменту назначения в ставропольские степи Андрей уже наполовину закончил работу над книгой, о творческом замысле которой знавшие Андрея специалисты отзывались очень высоко. Почему же его так нерасчетливо забросили в эти глухие степи? Что он будет здесь делать? Хутор, в который он получил назначение, расположен среди сыпучих песков прикаспийского бурунного края; это край тонкорунного овцеводства. Колхозники сеют на своих землях лишь кормовые травы да бахчи. В своей просьбе Андрей исходит не из корыстных целей, а из общественных интересов: он готов поехать куда угодно, лишь бы ему вновь была предоставлена возможность заняться начатым раньше делом...

Было без четверти десять, когда он кончил писать. В черные окна по-прежнему бил сырой и тяжелый снег, он налипал на рамы и, оставляя на стеклах густые потеки, неохотно сползал куда-то вниз, в палисадник. Из соседней комнаты доносилось глухое бормотание сонной старухи, на стенах тревожно трепетал сумрак. Где-то рядом металась на ветру неприкрытая ставня и то пела, то плакала, навевая тоску и уныние.

Заклеив конверт, Андрей немного прикрутил фитиль лампы и начал развязывать перед зеркалом галстук. Почта уходила с хутора в шесть часов утра, и, чтобы успеть сдать письмо, надо было проснуться еще до восхода солнца. Хотелось уснуть сразу, больше не думая ни о чем.

Он уже положил на стол галстук и собирался снимать рубашку, как вдруг услышал в сенях громкий звон щеколды. Кто-то вошел в хату. Было слышно, как шарили руками по стене, отыскивая в темноте дверную ручку.

Андрей взял лампу и, приподняв ее над головой, подошел к порогу.

— Кто здесь?—произнес он, вглядываясь в сумрак.

— Ой, простите,—раздался за дверью женский голос.—Я на одну минутку.

Андрей недоуменно отступил назад. На пороге стояла плотно закутанная в теплую шаль незнакомая женщина. На отвернутом воротнике ее овчинного по-

лушубка ярко сверкали капельки талого снега. Обута она была в тяжелые солдатские сапоги.

— Я на одну минутку,— повторила женщина виновато.— Я сама звеньевая. Сегодня в сельсовете узнала, что вы к нам агрономом назначены, ну вот и зашла...

И, помолчав, в смущении, робко присела на краешек лавки возле порога:

— Скоро весенний сев, а мы без агронома. Еще с осени обещали прислать. Ждали-ждали, думали не дождемся.

Андрей поставил лампу и в молчаливом раздумье забарабанил пальцами по столу. Не скоро он, видно, поймет этих степных людей, одетых в дубленые овчинные полушубки.

— Я только что с дороги,— сказал он усталым голосом.

— Да я сейчас уйду,— проговорила гостья,— я боялась, чтобы вас не перехватили другие. А мне агроном край нужен. Мне бы хотелось...

Что ей хотелось, Андрей не услышал. Он думал в эту минуту о только что написанном письме. Ответят на него или не ответят?

— Так уж вы не посчитайте за труд — зайдите,— продолжала колхозница, поднимаясь с лавки.— Я живу недалечко отсюда — третья хата с краю. А если заплутаетесь, спросите — меня на хуторе знает каждый...

— Хорошо, я приду,— стараясь казаться спокойным, ответил Андрей и снова приподнял над столом лампу, чтобы проводить колхозницу через темные сени.

* * *

Утром его разбудило солнце. Оно глядело через окно прямо ему в лицо — чистое и теплое. Ветер утих, и в небе плыли редкие перистые облака. По-весеннему звонко пели жаворонки, щебетали скворцы, а где-то на крыше мирно и ласково ворковали голуби.

На столе уже стоял завтрак. Чайная ложка в стакане блестела расплавленной серебряной струйкой, на глиняном кувшине с молоком отраженный зеркалом прыгал яркий солнечный зайчик, а белые яйца вокруг чайника казались будто окропленными каплями только что растаявших снежинок.

Быстрый переворот в природе удивил Андрея; он нисколько не пожалел, что проспал хуторскую почту, и поднялся с постели в хорошем расположении духа. Повязывая перед зеркалом галстук, он шутливо подморгнул сам себе, а садясь за стол, вслух пожелал окутанному паром чайнику доброго здоровья.

О вчерашнем визите звеньевой он вспомнил, когда уже выходил на улицу. Она просила его прийти, и, конечно, надо уважить ее просьбу. Письмо еще не отослано, а пока на него ответят, минет, может быть, целый месяц. Волей-неволей этот месяц придется прожить в Песчаном.

От вчерашней стужи не осталось даже следа, и все: и хутор, и степь от края до края — было залито раствором нежных весенних красок. С голубой высоты струилась веселая перекличка птиц, похожая на перезвон колокольчиков. Серые простыни снега на косогорах успели превратиться в зеленеющие лужайки, а дальние перевалы, совсем неожиданно возникшие перед глазами, мягко слились своей синевой с чистым небом.

Белый платочек хозяйки Андрей увидел за глинобитной оградой палисадника. Старуха старательно разгребала руками свежевзрыхленную землю. Заслышав шаги на крыльце, она вскинула голову и слегка приподнялась на коленях.

— Встали, значится,— она улыбнулась со своей тихой материнской лаской.— А тут мне Марина уже надоела, два раза прибегала.

Андрей приподнял брови:

— Какая Марина?

— Да Любенкова. Та самая, что приходила к вам вчера. Разбудить хотела, да я не дала. Пусть поспит, говорю, он с дальней дороги.

Сам не зная зачем, Андрей прошел в палисадник и присел на корточки возле старухи. «Прибегала два раза,— подумал он, доставая из кармана портсигар.— Видно, эта Марина смелая и боевая. Зря он не захотел поговорить с ней вчера. Все же надо было узнать, зачем она так настойчиво тянет его в свою хату».

Его мысли нарушила старуха. Она выпрямилась и, тихо охнув от боли в пояснице, серьезно и внимательно посмотрела на Андрея.

— Вот гляжу на вас,— сказала она,— гляжу и диву даюсь,— до чего же напоминаете вы мне Васятку. И роста он был с вами одинакового, и кудрявый такой же. Только русоватый маленько.

Андрей сразу понял, что старуха заговорила о своем сыне. Одеваясь, он долго рассматривал на стенах хаты пожелтевшие от времени фотокарточки чубатого парня в военной форме. На одном снимке он стоял рядом с ней, горделиво выставив грудь с четырьмя боевыми медалями:

— А где же он сейчас?

Старуха вздохнула.

— Нет в живых его, давно уж нету. Полег на войне, где-то под Будапештом. Оттуда перестал письма писать.

И, глядя на залитые солнцем окна своей хаты, тихо добавила:

— Одна в доме осталась. Скоро съедят стены...

Андрей глубоко затянулся папиросным дымком. Надо было что-то сказать ей в утешение: взгляд, каким глядела на него старуха, был полон материнской скорби. Но нужных слов не подыскал.

— А старик давно помер?

Старуха помолчала, будто вспоминая что-то. Потом поглядела на дальние перевалы и горестно усмехнулась.

— Взбалмошный он был у меня. Без учености в агрономы хотел выйти. Все семена какие-то разыскивал в бурунах... там и сложил свою голову.

Подробно рассказать о своем муже старуха не захотела. Андрей это понял сразу и, не желая больше тревожить ее старые душевные раны, молча встал и пошагал вдоль улицы по направлению к хате Любенковых.

* * *

Марину Андрей не узнал. Слегка наклонившись вперед, на пороге стояла миловидная девушка и смущенно ему улыбалась. Одна рука ее лежала на щеколде распахнутой двери, другой — она держала за ошейник зло ворчавшую лохматую собаку. Под локтем, слегка касаясь бедра, у Марины серебрилась тяжелая черная коса в голубой ленте.

Андрей смотрел на нее и не верил, что это та самая женщина, которая приходила к нему. Ему было немного неловко перед ней за свою вчерашнюю грубость.

— Что ж вы стоите? — засмеялась Марина.— Проходите скорее в хату. Полкан укусить может.

Не скрывая своего смущения, Андрей переступил порог и вошел в просторную комнату, почти всю застланную самотканными цветистыми половиками. С передней стены на него глянул убранный метелками ковыля знакомый образ вождя. В левом углу стояла широкая крестьянская печь с высокими рогачами. Вдоль глухой стены тянулась длинная, выкрашенная охрой лавка, вся уставленная комнатными цветами. На столе против распахнутого настежь окна шумел только что закипевший медный самовар, от него навстречу Андрею шла высокая смуглая женщина, покрывшая плечи черной шелковой шалью.

— А мы давно вас ждем,— сказала она.— Раздевайтесь и проходите к столу.

— Благодарю,— ответил Андрей, догадываясь, что перед ним мать Марины.— Я только что позавтракал.

— Нет, нет. Уж раз пришли, то не обессудьте.

Андрей снял пальто. В зеркале он увидел входившую в хату Марину; она делала матери какие-то знаки.

Андрей незаметно разгладил ладонью прическу, поправил слегка перекошенный галстук и повернулся к Марине. В темных ее глазах была мягкая ласка и едва уловимая грусть. Между густыми, почти сросшимися бровями лежала строго прочерченная складочка — след улетающей девичьей юности.

— Спасибо... спасибочко вам, что пришли,— сказала она, подходя к Андрею вплотную.— Теплица моя тут рядом, за дверью...

Андрей не понял.

— Какая теплица?

— А самая обыкновенная. В ней мы проращиваем свои семена. Вот мне и хотелось, чтобы вы взглянули.

К ящикам с зеленью Андрей привык еще с раннего детства. Он среди них родился и вырос и, когда наконец понял Марину, быстро шагнул в сторону смежной комнаты.

Но нет, это было не то, что в его родном доме. Отцовская лаборатория почти вся, от пола до потолка, была разлинована стеллажами. Густая и красивая зелень стояла на них, как щетина. Там все было переполнено приятным запахом медовой травянистой свежести. А в теплице Марины стоял один-единственный ящик. И в нем зеленела не пшеница, а люцерна. Обыкновенная голубая люцерна...

* * *

От Марины Андрей ушел злой и расстроенный. Люцерна! Зачем ему нужна эта люцерна? Точно в насмешку — один-единственный ящик и тот с ненужной дикой травой.

Ушел за околицу, в степь. Прямо через овраг, через гремящий таловой водой ручей.

Степь дымилась, просыхая на солнце. Вдали, над горизонтом, уже колыхалось весеннее марево. Сквозь это марево робко проступали темные очертания чабанских кошар. Над кошарами клубился дымок, он висел над землей, почти не растворяясь, не исчезая и в лучах солнца.

Андрей провел в степи весь день. Он прошел километров пятнадцать, не встретив никого, кроме облезлых беркутов да посметушек. В сумерках, уже возвращаясь назад, случайно набрел на чабанский костер и, усталый, продрогший, присел у пламени, чтобы согреть свои застывшие от холода ноги.

Чабан, высокий и сумрачный дед, одетый в солдатскую шинель с чужого плеча, уложил встревоженных лохматых собак-волкодавов и, взглянув из-под нависших бровей на Андрея, спросил:

— Откель, товаришок, будешь?

— Из Песчаного, дед, — ответил Андрей, не поднимая на него усталого взгляда.

Чабан кинул в костер пучок сухого бурьяна и, выждав пока вспыхнул веселый огонек, сквозь прищур внимательно стал вглядываться в лицо Андрея.

— Что-то я тебя, товаришок, не признаю. Я ведь сам оттуда, из Песчаного.

Андрей протер от дыма глаза и задумчиво оглядел притихшую степь.

— Приезжий я,— сказал он уныло,— из города.

— А,— протянул старик, чуть приподняв небритый подбородок.— То-то я вижу, личность твоя чужестранная. Полномоченный, видно.

— Нет, я агроном. На постоянную работу...

— Так, так... пожалуй, дельно. Очень дельно, товаришок.

— Не совсем уж дельно,— грустно усмехнулся Андрей.— Нечего делать мне, дед, в вашем краю. Я учился растить пшеницу, а у вас здесь один сыпучий песок.

— Что верно, то верно,— вздохнул чабан.— Песка хватает...

Этот вздох и толкнул Андрея на откровенность. Ему давно хотелось кому-нибудь рассказать о своих переживаниях. В тоне этого сурового старика он услыхал сочувствие.

— Отец у меня профессор,— заговорил он, придвигаясь ближе к костру.— Он всю жизнь занимался зерном — выводил новые сорта пшеницы.

— Что ж, дельно, очень дельно,— кивнул головой чабан.

— Он и меня направил по этой дороге... выращивать пшеницу, новые сорта.— Андрей говорил медленно, будто каждое слово причиняло ему боль.— Как знать, может эти сорта привились бы и на ваших песках... А опыты до конца я не довел...

Дед слушал Андрея, больше не перебивая. Все плотнее и строже сдвигались его нависшие над глазами брови. Оранжевый свет костра ярко освещал его рослую широкоплечую фигуру, и в эти минуты, со своей длинной палкой в руке, он казался похожим на богатыря из дружины князя Олега.

Вскоре костер стал угасать. Кучка жара зашевелилась под ветром, словно залитая кровью подстреленная птица. Чем больше тускнела она, тем прозрачнее становился вокруг степной сумрак. Вдали завиднелись острые контуры курганов и песчаных наносов, отчетливо обрисовалась в ближайшей балке темная масса овец. Далеко впереди замаячил серыми камышовыми крышами хутор, а еще не просохшие осенние пашни залегли на равнине, как длинные тени от телеграфных столбов.

— Я сам хлеборобством не занимался,— заговорил

чабан, когда Андрей смолк,— всю жизнь пасу овец. А думка насчет того, про что ты здесь гутарил, у меня тоже есть.

Он оглянулся на балку, где невесть отчего зашумела и заволновалась овечья отара, достал из кармана кисет и стал медленно сворачивать папиросу.

— Своя думка.

Андрей насторожился.

— Не в сортах дело, товаришок,— послышался голос деда.— Много разных сортов засылала нам опытная станция, а ни один не подошел. Тут все дело в земле. Не сложил бы свою голову Кузьма Иваныч, давно родилась бы у нас пшеница...

— А кто такой Кузьма Иваныч?

— О,— протянул чабан,— это был человек мудрого разума. Большая была голова у него. Только в жизни своей получилось у него все не совсем ладно.

— Так ты рассказал бы о нем, дед.

Чабан прикурил от тлеющей былинки бурьяна, затянулся табачным дымком, глянул через плечо на сомкнувшуюся в пепельно-серый круг овечью отару.

— Могу. Только не подумай, что это сказка какая. Это сущая правда. Сущая правда, товаришок.

Старик говорил не спеша, часто погружаясь в раздумье, чутко прислушиваясь к сонным вздохам и шорохам присмиревшей степи. Андрей сидел против него и с полузакрытыми от усталости глазами внимательно слушал страшноватую степную быль.

...Уже побледнел восток, когда чабан закончил рассказ. Он посидел с минуту в молчании и, тихо вздохнув, снова начал сворачивать папиросу. А когда брызнули искры из-под кресала и в воздухе приятно запахло задымившимся фитильком, глухо проговорил:

— Ну, что ж, мне, видать, пора подниматься... Отара уже просится на золотурган.

Встал и ушел, угрюмо кивнув головой на прощанье, а Андрей еще долго сидел возле остывшего пепла вечернего костра — одинокий, затерянный в предрассветном сумраке, бездумно глядя на только что взошедшую зорьку — предвестницу близкого рассвета. И только, когда взлетели жаворонки и застрочили вокруг свою звонкую предрассветную песню, встал и медленно побрел в сторону Песчаного.

* * *

Дарья Петровна встретила Андрея в тревоге. Вчера к ее двору три раза подъезжала тачанка председателя колхоза. Ожидая возвращения Андрея, Иван Корнеевич просидел в хате до поздней ночи, а уходя наказал: сейчас же явиться агроному в контору правления.

Андрей выслушал хозяйку и, ничего не сказав, прошел в комнату. Оказывается, это была она, та самая комната, в которой жил Кузьма Иванович Шумейко. Андрей оглядывал ее теперь совсем другими глазами — взволнованно и удивленно, и ее глинобитные стены уже не казались ему такими неприветливыми и унылыми. Еще вчера он заметил на них длинные рыжие полосы. Тогда он не мог даже предположить, а теперь ясно видел, что это следы стеллажей. На раме зеркала висят снопики давно засушенных степных трав, как знать, может быть, среди них та самая чудесная трава, которую так долго разыскивал бедняга Шумейко...

Вошла Дарья Петровна. Пока она готовила на столе завтрак, Андрей мысленно представил рядом с ней молчаливого и тихого старика с вечно задумчивыми глазами. Он не обижается, когда Дарья Петровна упрекает его за прогнившую крышу: ему нет времени перекрыть ее молодым камышом. Он слушает жену, а сам думает совсем другое. Жена не разделяет его надежд, она не верит, что какой-то дикой травой можно вернуть плодородие местным землям, с давних лет засыпанным астраханскими песками.

Да, видимо, не только она, многие этому не верят в хуторе. Песков — громада. Они заносят не только посевы, они засыпают озера, селения, даже реки. Отчего ж, как не от песчаных заносов, потерялась в степи река Кума, еще на памяти прадедов шумевшая своей холодной ледниковой водой за околицей хутора. Бежала она в ту пору до самого Каспия, а тоже споткнулась и пропала почти за двести километров от моря. Пески всосали ее воды, как огромная ненасытная губка, и там, где река когда-то замедляла свой бег, теперь все покрыто дремучими зарослями камыша.

— Дарья Петровна,— сказал Андрей, трогая рукой сухую метелку под зеркалом,— это случайно, не та

трава, которую собирал в бурунах ваш покойный муж?..

Старуха удивленно посмотрела на Андрея.

— Вам уже рассказали? И что, скажи, людям надо! Даже в могиле не дают человеку покоя... Столько насочинили про него всякого.

И, хотя не хотела вести разговор об этом, ответила:

— Нет, не она. Эту собирала я сама для снадобья. А та трава совсем другой вид имеет. Та трава с колосочками, вроде пырей.

Андрей не знал той травы, о которой рассказал ему старый чабан, не знал совсем. Но ее чудодейственная сила не могла не вызвать у него волнения. Он агроном, и потому надо непременно увидеть это растение и узнать, как оно называется...

* * *

...Пески надвигались из прикаспийской пустыни. Их несли оттуда горячие сухие ветры. С каждым годом на ставропольские степи все плотнее и глубже оседал сыпучий песчаный покров. Земля теряла плодородную силу; посеянное зерно перестало пробуждаться в ней к жизни, и там, где когда-то шумела богатая кубанская пшеница, залегли широкие плешины песка с редкими кустиками чахлого и неприветливого растения.

Как остановить наступление этой пустыни, люди не знали. Песок им казался неотвратимым бедствием, и хоть грустно было покидать давно обжитые прибурунные балки, стали покидать их целыми хуторами. Они уезжали на юг, ближе к Тереку, к Кавказским горам.

Когда песчаная зыбь подошла к Терновой балке, о бегстве за горизонт заговорили и в Песчаном. Мазутные надписи «Сей дом продаеца» густо запестрели на бедных стенах хуторских хат.

Никому не продавалась на хуторе лишь одна хата. Она стояла почти у самой околицы, тихая, маленькая, похожая на перекошенный скворечник. Камыш на прогнутой крыше уже почернел от времени, и если бы не чистые окна, спокойно глядевшие в открытую степь, можно было бы подумать, что хата заброшена, и в ней давно никто не живет.

Но хата не пустовала. В ней жил со своей женой и маленьким сыном хуторской агроном-самоучка Кузьма Шумейко. Молодость его давно отошла, на голове белели седые волосы, а на лице лежали тяжелые морщины. Долгая жизнь в батраках согнула и сгорбила его когда-то широкую и крепкую спину; он ходил, опираясь на палку, почти никогда не поднимая с земли своего задумчивого взгляда.

Кузьма Шумейко жил уединенной жизнью, и мало кто видел, чем он занимается в своей хате. А там у него, вдоль низких побеленных мелом стен, на дощатых стеллажах, стояло множество набитых землей деревянных ящиков. В этих ящиках круглый год произрастали разные травы; они то сползали зелеными завитками до самого пола, то упрямо взбирались по стене вверх, повисая на потолке густой бахромой. Порой на подоконниках у Шумейко зацветали такие цветы, что прохожие надолго останавливались перед его хатой, дивясь их невиданной красоте...

И вот однажды утром к агроному Шумейко явилась группа хуторских стариков. Они уезжали на юг и зашли, чтобы с ним проститься, а может быть, уговорить и его покинуть Песчаный.

Хуторяне застали Кузьму Ивановича за странным занятием. Он сидел за столом и на развернутой газете перебирал пальцами какие-то мелкие зернышки темно-желтого цвета. Зернышки напоминали собой ружейный порох.

— Уж не золото ли пересчитываешь?— усмехнулся кто-то из стариков.

— Нет, не золото,— ответил Кузьма Иванович.— Но скажу, старики, откровенно: семена эти дороже всякого золота.

И пока закуривали гости, он неторопливо продолжал:

— Если пройти по нашей степи, можно найти редкие кустики травы, цветом она в легкую голубизну кидается. Дивная то трава, старики. Она не страшится ни зноя, ни песчаных наносов. Корнем уходит та трава глубоко в песок, до аршина, а может, и более, и там, в земле, разветвляется на добрую тысячу махрастых отростков. Еще важно, что при гниении ее корней богатое питательное вещество получается...

— Обожди, Кузьма Иванович,— вдруг перебил его тот же голос.— Сперва объясни, к чему ты...

— А к тому, что, если собрать в достатке этих семян и засеять ими все наши заброшенные земли, пески закроет сплошная трава. Своими корнями она так крепко прихватит песок, что его не раздует никакой бурунный шурган. Пески залягут навечно, а когда дернина перетомится, на них можно будет сеять что угодно, даже пшеницу.

Расходясь по домам, хуторяне посмеялись над самозванным агрономом. «Да нешто можно травой одолеть такую силищу? Блажит старик; видать, совсем уже выжил из разума...»

Надо было доказать правоту делом. И уже на следующий день Кузьмы Ивановича не было дома. Перекинув через плечо мешок, он шагал по бурунной степи, шагал, не боялся, хотя встречались еще в степи неразбитые белогвардейские банды.

Шагал по сыпучим пескам Кузьма Иванович и в думах своих представлял, как вдруг зазеленеет на удивление всем, засеянный им на голом песке неширокий участок. Через три года он вспашет его и снова засеет, но на этот раз засеет уже не дикой травой, а кубанской пшеницей. И вырастет эта пшеница на великую радость людям, по грудь, и колос ее от тяжести крупных зерен наклонится почти до земли. Правда будет доказана, и если ему придется прожить на свете еще лет десять, он своими глазами увидит зеленый ковер на всей прикаспийской пустыне. Пустыня исчезнет, и там, где сейчас дымятся от ветра песчаные гребешки, впервые зацветут абрикосы и яблони.

Никто не знает, сколько прошагал Шумейко по сыпучим пескам, как и где он собирал семена хорошо ему известной драгоценной травы, но он их собрал полный мешок. И когда уже доходил до Волчьего кургана, совсем неожиданно повстречался с двумя незнакомыми всадниками. Это были бандиты, скрывавшиеся в сыпучих песках от расплаты за свой разбой— Игнат Зюбин и его старший сын, но Шумейко принял их за объездчиков ближнего овцесовхоза. Он охотно ответил, зачем он здесь бродит, а потом, развязав мешок, стал показывать собранные семена.

— В этих зернах сокрыта великая сила,— говорил

он, пересыпая их на своих ладонях, с восторженным блеском в глазах.— Они превратят эти пески в цветущую степь, они уничтожат эту пустыню...

Пряча в усах усмешку, долго слушали его бандиты. Затем один из них неторопливо спешился, вырвал мешок из рук Шумейко и со злобой вытряхнул семена на песок. Другой заехал сзади и, выдернув из ножен кривую черкесскую саблю, рубанул ею наотмашь по седой голове агронома. Шумейко пошатнулся и упал. Умирая, он еще пытался сгрести рассыпанные по песку семена, но бандит, перегнувшись в седле, рубанул еще раз, и Шумейко притих.

Вскоре подул бурунный шурган и погнал по степи густую песчаную поземку. Проходившие вечером мимо кургана совхозные чабаны уже не увидели изрубленного саблей агронома. На месте, где пролилась кровь старого Шумейко, как и всюду, дымился сухой песчаный гребень.

О смерти Кузьмы Ивановича узнали лишь через год, когда Зюбины за свои разбойничьи дела предстали перед народным судом. Но где, на каком именно месте он был зарублен, бандиты забыли и потому не сказали.

А могила Шумейко обнаружилась еще до того, как злодеи были расстреляны; только никто не знал, что это и была его могила. В начале мая у Волчьего кургана вдруг зазеленела широкая лужайка. Она легла на сыпучий песок, как раскинутый кем-то ковер, вся в нарядном цветении.

И люди, случайно наталкиваясь на нее, дивились чудесной силе собранных воедино кустиков дикой травы. Кругом, насколько хватал глаз, курились дюны, а здесь все лето тихо и радостно зеленела веселая лужайка. Плотная дернина мешала ветру раздувать песок; она скрепила его, будто цементом, смело утвердив жизнь на омертвевшей бурунной земле.

Шли годы, а лужайка не увядала. Наоборот, с каждой новой весной она становилась просторнее и богаче. Все дальше и дальше отодвигались от нее сыпучие гребешки. В дни, когда в Песчаном организовался колхоз, ее зеленые волны уже накатывались на Волчий курган. Издавна лишенный растительности великан помолодел, на его угрюмых склонах заигра-

ли мягкие и нежные, зеленые, слегка голубоватые краски, не блекнущие даже в знойные июльские дни... Для здешнего путника радостью стал этот курган.

* * *

Рассказ старого чабана захватил Андрея. Все тяжелые мысли, с которыми он бродил по степным просторам — мысли о своей неосуществленной мечте, как-то сразу поблекли, отодвинулись в сторону. Теперь, всему наперекор, сознанием овладели думы о чудодейственных семенах Кузьмы Ивановича Шумейко. Всякий раз, когда Андрей заходил на половину Дарьи Петровны, он вспоминал про ее мужа и подолгу расспрашивал о нем.

И как-то само собой родилось желание — пока долетит до Москвы письмо, пока прочтут его в министерстве и напишут ответ, — отыскать в бурунах шумейковскую лужайку. Если ее действительно до сих пор не занесли пески, он нарвет этой травы и попытается определить ее название. Не сумел прославить ее Шумейко, так прославит он, молодой агроном.

Но вскоре хуторские колхозники начали сев кормовых трав, и у Андрея сразу появилась масса беспокойных и неотложных дел. Еще не всходила зорька, а к крыльцу подкатывала звонкая бричка с кучером Яшкой и увозила агронома далеко в степь.

А время шло, и Андрей, теперь уже с тревогой, начинал думать, что скоро на его место пришлют нового агронома и он, покинув эти края, так и не узнает тайны Кузьмы Шумейко.

Поля хуторского колхоза широко раскинулись по всей степи, и очень часто ночь заставала Андрея где-нибудь на дальнем полевом стане. Укрывшись чужим тулупом, он лежал на опрокинутом ящике для перевозки корма и подолгу слушал протяжные девичьи песни. Ему начинала нравиться эта степная жизнь под открытым небом, густо усеянным яркими звездами. Сколько здесь раздолья для взора! Со свежих пашен плывут пряные запахи только что взрыхленной земли, лицо ласкает легкий вечерний ветер, и шелест прошлогодних трав наводит на радостное раздумье. Девичья песня то взлетает в небо, то снова опускает-

ся до тихого вздоха, лежал бы и слушал ее до рассвета — эту складную, вечно юную девичью песню.

Однажды Андрей заночевал на самом дальнем полевом стане. В небе висела полная луна, и все от горизонта до горизонта сияло в чистом голубоватом блеске. Степь была видна как днем и своим сказочным отсвечиванием манила к себе, на привольный простор. Спать никому не хотелось — старики вели разговоры у костров, а молодежь, чуть удалившись от стана, плясала и пела.

Посидев немного меж стариков, Андрей поднялся и ушел к молодежи. Там он долго стоял возле кудрявого гармониста, глядя на танцующих девушек и ребят. Потом решил уйти спать и, когда уже повернулся, вдруг увидел среди девичьих косынок знакомую черную косу в голубой ленте. Весело чему-то смеясь, Марина тащила за рукав, вызывая на танец, кучера Яшку. Упираясь, Яшка тоже смеялся и своим давно не бритым подбородком украдкой указывал на Андрея. Тащи в круг, мол, не меня, а его...

— Нет, я не танцую,— смущенно сказал агроном, когда Марина, оставив упрямого Яшку в покое, смело схватила его за руку.

— Кто же вам поверит?— все еще смеясь, проговорила Марина.— Вы ж городской, городские все танцуют...

Ровным голубым светом луна осветила лицо Марины, и здесь, в степи, Андрей впервые почувствовал прелесть ее девичьей красоты. В своем легком ситцевом платье и красной косынке, небрежно наброшенной на смуглую шею, она была похожа в эту минуту на молодую цыганку. Было приятно глядеть на ее удивленно взведенные темные брови.

Андрей не встречался с Мариной с того дня, как ходил в хату Любенковых смотреть всходы люцерны. Видимо, обидевшись на него за равнодушие к ее тепличным опытам, она больше не звала к себе агронома. Не тянуло туда и Андрея. Он жил своей жизнью, а Марина своей, и они почти забыли друг о друге.

— А я думала, что вы уже уехали,— сказала Марина, перевязывая красную косынку на шее.— Думала уже опять мы остались без агронома.

Андрей виновато оглянулся через плечо на мерца-

ющий степной простор и, чтобы скрыть смущение, достал портсигар. Откуда она об этом узнала? Ведь, кроме старика-чабана, он никому еще не высказывал своих тайных мыслей. О них не догадывалась даже Дарья Петровна.

— Уезжать будете — хоть привет передайте...

Это была обидная насмешка. Андрей был вспыльчив, но сдержался, закурил и, застегнув плащ, сделал вид, что им с Мариной говорить больше не о чем.

* * *

Председатель колхоза Иван Корнеевич произвел на Андрея странное впечатление. Его нисколько не огорчило откровенное признание нового агронома. Было похоже, что ему дорог не агроном, а сын профессора Панкратова. Только за одно это родство он готов был многие годы оплачивать жизнь Андрея.

— Главное — привыкнуть к нашему краю,— говорил он, ободряюще похлопывая своей тяжелой ладонью по плечу Андрея.— Тут до тебя многие были, да что толку...

Когда начался весенний сев, встречаться приходилось с ним редко, и то лишь где-нибудь на дороге. Завидев Андрея, он на ходу соскакивал с тачанки и, по старой военной привычке, в знак приветствия браво прикладывал руку к лакированному козырьку кавалерийской фуражки. Был он коренаст и плечист, и от всей его сильной фигуры так и веяло удалью и степным здоровьем.

— Ты уж поддерживай меня горячей, товарищ Панкратов,— щурился он, шагая рядом с тачанкой Андрея.—Главное — засеять все вовремя. Сеялок не хватает — пусть сеют вручную. Если борон не хватит, пусть по посевам прогонят овечьи отары. Наша люцерна неприхотливая — ее семена можно и копытом затаптывать.

Андрей удивлялся его странному желанию засеять все, что только можно засеять. И чем: одной голубой люцерной. А к чему колхозу столько кормовых трав? Десятки скирд сена стоят в степи нетронутыми еще с прошлого года. Скот можно пасти всю зиму, снег почти не закрывает некошеные травы, и они шумят на раздолье до самого мая.

Но раз просит Иван Корнеевич о поддержке, надо поддерживать. Чем успешнее будет в колхозе окончен сев, тем скорее удастся Андрею увидеть шумейковскую лужайку. Он поедет туда сейчас же, как только освободится от дел. Приближался май, и там, у Волчьего кургана, по-видимому, уже зазеленела шумейковская трава...

Вскоре Андрей снова очутился на самом отдаленном полевом стане. Возвращаться домой было поздно, и все повторилось сызнова: ясная лунная ночь, девичья песня, гармонь и Марина. Только на этот раз Марина уже разговаривала серьезно, и ее черные, слегка затуманенные глаза были полны раскаяния и ласки.

— Хотите, я покажу вам свой опытный участок?— сказала она, застенчиво теребя перекинутую через плечо косу.— Это совсем недалечко... тут рядом.

И у Андрея возникло желание, которого он и сам не мог объяснить, желание побыть с Мариной наедине. Зачем — он и сам не знал. Может быть, для того, чтобы рассеяться от дум, погрустить возле нее под этим призрачным небом. Ночь стояла чудная, такая ночь могла не повториться.

И он ответил:

— Очень рад буду. Я давно собирался...

Первые минуты шли молча, плутая между мягких борозд. Потом Андрей спросил: удалось ли в зимние дни уберечь от выдувания снег, и Марина, словно обрадовавшись вопросу, охотно стала рассказывать все до мелочей. Снежный покров в этих краях небогатый, а ветры почти никогда не стихают, и оттого ей пришлось с девчатами зимой жить на полевом стане. На своем участке они установили около трех тысяч камышовых фашин.

Затем она оборвала рассказ и сказала обрадованно, оглянувшись на Андрея:

— Вот и он, наш опытный участок. Зайдемте со стороны луны — так будет виднее.

И прошла вперед, мягко ступая по рыхлой земле, тихо раскачивая на спине черную косу.

— Идите же, здесь сухо...

Потом она наклонилась, чтобы показать темные рядки едва поднявшихся над землей каких-то кустистых всходов.

— Что же вы не смотрите? — вскинула она брови.— Смотрите!

Андрей сконфуженно присел на корточки и положил свою руку на всходы. Это росла не трава. Степные травы сразу же выбрасывают на свет упрямый стебель, а тут его ладони коснулись мягкие листочки, окропленные предутренней влагой.

Чем-то очень знакомым пахнуло на Андрея от этих всходов. Торопливо выдернув кустик, он отряхнул от земли его корни и со странным волнением приподнял на уровень глаз. И когда на ладонь упал лунный свет, ярко посеребрив нежные зеленые завитки, радостно воскликнул:

— Пшеница?!

— Она самая,— спокойно ответила Марина, с лукавой улыбкой прислушиваясь к звонкому эху вскрика Андрея.— Пшеница и есть. Или, думаете, я так для красоты в том ящике выхаживала всходы емурка?[1]

— Какого емурка? Там же росла голубая люцерна.

— А не все ли равно,— ответила Марина.— Как называл эту траву агроном Шумейко, так называем ее и мы...

* * *

Теперь и кучер Яшка знал, куда больше всего тянуло агронома, и, когда ночь заставала вдали от хутора, сворачивал на самый дальний стан.

В такие минуты Андрей делал вид, что дремлет, что ему все равно, где бы ни заночевать, лишь бы хорошо отоспаться. Но, когда останавливалась тачанка и воздух наполнялся звоном и гамом вечерней жизни колхозного стана, сразу забывал об усталости. Оставив Яшку с лошадьми, он уходил на звуки гармони.

Марина встречала его на глазах у всех девчат, никогда не стесняясь, как всегда — в своем ситцевом, слегка уже выгоревшем платье и красной косынке на смуглой шее; встречала радостно, но без робости и удивления, будто знала она Андрея с давних пор. Доверчиво взглянув в глаза, улыбнулась и, на мгновение задержав его большую руку в своей шершавой от мозолей малень-

---

[1] Емурок — дикая голубая люцерна.

кой ладони, перед тем как уйти на опытное поле, звала на ужин.

Уже больше двух недель агроном не был в Песчаном. И не раз, когда были уже запряжены кони, на ум вдруг приходило новое, совсем неотложное дело к Ивану Корнеевичу. Пока его удавалось найти, на степь опускался вечер, а там снова кучер Яшка самовольно сворачивал на дальний полевой стан.

...Это произошло уже в начале мая, в тихий звездный вечер. Луны уже не было, и степь лежала вокруг, как развернутая на равнине мохнатая бурка. В синем сумраке, полном пряных запахов трав, чутко дремал полевой стан. Сливаясь в неясную темную массу, недалеко, у дороги, фыркали и позванивали удилами бригадные кони. Вдали кто-то пел: «...Вы не вейтеся, черные кудри...», и в этом грудном голосе явно угадывалась тоскующая любовь.

Обняв руками колени, Марина сидела на невысоком сусличьем холмике и задумчиво глядела на Андрея. Дул легкий ночной ветерок, он трепал на ее плечах косынку, норовя унести ее в степь. Покачивалась от ветра и коса, привычно переброшенная на грудь.

— В сельсовете,— говорила Марина,— лежит телеграмма. Я сама ее не читала, мне о ней Иван Корнеевич передавал. Вам разрешается уехать отсюда.

Она не сказала, что ей жаль расставаться. Об этом сказали ее глаза, затуманенные тихой девичьей грустью.

Андрей промолчал. Что-то большое, нежное и хорошее коснулось его сердца. Ему вдруг захотелось присесть возле Марины и уронить свою голову ей на колени.

— Я уеду, Марина,— сказал Андрей.— Но уеду совсем не надолго. Я должен буду привезти сюда семена пшеницы, выращенной моим отцом. Только затем и уеду...

И не удержался, присел и уронил свою голову ей на колени.


Очерки

ПАРЕНЬ С ШИРОКОГО ПОЛЯ

Окна были открыты, и Василий сразу понял, отчего вдруг так шумно в ночной тишине зашелестела листва акаций. Пошел дождь. После глухо пророкотавшего отдаленного грома он припустил еще сильнее, и, пока прикрывали окна, с крыши полилось как из ведра.

До рассвета было еще далеко, но снова в постель Василий не лег. Теперь он все равно не смог бы уснуть — так взволновал и обрадовал его этот дождь.

— Ты спи, а я пойду,— сказал Василий жене.

И она не возразила ему. Она хорошо знала, куда он пойдет, и поняла, что его возвращения домой теперь не жди до самого вечера. Да не появится он и вечером, если не успеет со звеном прокультивировать в течение дня весь свой участок. Такой уж у него характер.

* * *

Весне в наших краях не приходится вступать в схватку с зимой. Она утверждает здесь свою власть как бы единым взмахом крыла. Утром выглянешь в окно и — не веришь своим глазам: от вчерашней стужи нет на дворе даже следа. Перестроено на весенний лад все: и на земле и в небе — горячее солнце и звонкий, как хрусталь, перезвон прилетевших птиц.

Так заявилась к нам на Ставрополье и весна этого года. Из конца в конец все зазеленело и затрепетало в бодром весеннем блеске так дружно и быстро, что весне не успелось сказать даже: здравствуй!

И угораздило же меня спросить тогда одного человека:

— Врасплох, выходит, застала вас нынешняя весна?

Человека этого звали Василием Ивановичем Кобышевым. Я встретился с ним в правлении колхоза имени Сараева, что в селе Константиновском, Петровского района. Именно о нем сказал мне председатель колхоза Иван Викторович Смагин:

— Вот о ком следовало бы написать в газете. Хоть и молодой, но дело знает. На своем участке из года в год выращивает самый высокий урожай кукурузы. На той же земле и в тех же условиях другие не дотягивают и до двадцати центнеров с гектара, а у него всегда свыше сорока. И в нынешнем году дал со своим звеном обязательство получить вкруговую по сорок пять.

Я жалею, что задал Кобышеву свой вопрос, потому что, наверное, обидел им. Как же могла весна застать его звено врасплох, если в этом году оно почти всю зиму не покидало поля.

К примеру, на дворе февраль, месяц, казалось бы, на селе самый спокойный и тихий, а на вопрос, где же сейчас Василий, жена отвечала обыкновенно:

— Как где? В поле. На участке его искать надо...

Что же он там делает в такую пору?

Что — можно было понять еще издали, еще тогда, когда мы оказались за околицей.

Звено Василия Кобышева начало борьбу за урожай кукурузы задолго до посева. Зима нынешнего года на снег поскупилась, и нужно глядеть да глядеть, чтобы его в тот же день не смело ветром за межи. Ветер не унес с поля и горсти снега — весь он был старательно сгорнут в длинные валки. Черные кучи перегноя уже лежат вдоль загона в несколько рядов.

На посевном участке Василия Кобышева зимой так же многолюдно и шумно, как в летние дни. Зима зимой, а дело делом. Его нельзя отложить на завтра. Удобрения надо вывезти в поле сейчас, только сейчас. Хоть еще и метет в степи, но весна не за горами.

А весна и в самом деле пришла так дружно и быстро, что не успелось сказать ей: здравствуй! Но это совсем не значит, что кого-то она захватила врасплох. Тем более — Кобышева.

* * *

Было в этом рослом, плечистом и даже красивом парне что-то упрямое, сильное и лихое, и это сразу, с первой минуты встречи, вызывало симпатию. Да и подкупала его скромность. С каким-то степняцким прямодушием он сказал, что хвалить его рано, что он еще ничего не сделал такого, чтобы брать с него пример. И чувствовалось, что он не рисуется, а говорит искренне, убежденно.

Одним словом, Василий сразу замкнулся перед нами на все замки. Он не рассказывал, а лишь отвечал на вопросы. Да и то, до предела лаконично.

— Было. Было, конечно, и это.

Василий Иванович упрямо уходил от разговора: как же все-таки удалось в прошлом году его звену, в отличие от других кукурузоводческих звеньев колхоза, добиться такого высокого, невиданного в этих местах урожая кукурузы. Тут же счастливой случайности быть не могло. Природа не балует константиновских хлеборобов. А в прошлом году она здесь просто взбесилась. Только отсеялись, только зерна начали пробуждаться к жизни — разразилась черная буря. И не на один день, а почти на две недели. Дни и ночи по посевам неслась пыльная поземка. Сбивающий с ног ветер, как метлой, скреб взрыхленную землю. Сорняки, даже и те, не удерживались на своих цепких корнях, улетали за ветром. Лесные полосы стояли в пыльных сугробах почти по самые кроны.

Черная буря утихла, но не прошло и месяца, как наступила засуха. Дождевые тучи опускали свои живые завесы и слева и справа, а на поля константиновцев до самого июня не уронили ни одной капли влаги.

Пшеница, та здесь уже привыкла ко всяким степным невзгодам, а что было делать с кукурузой, с этим недавним переселенцем из благодатных мест? Буйно зазеленевшая было после выборочного подсева, она почти вся окрасилась в уныло-серый цвет. Ее листья пожухли и опустились, будто на дворе стоял не июнь — месяц самых добрых надежд,— а пора сплошного увядания трав.

— Было. Было, конечно, и это...

И все. Василий не добавил больше ни одного слова. Но не оттого ли, что «это» было, на лбу его обозна-

чилась первая морщина? Тут и гадать не надо, сколько он тогда пережил тревог и волнений. Шутка ли — на его совести четыреста пятьдесят гектаров земли! Разве бы мог простить он сам себе, если бы на его участке вместо кукурузы вырос один бурьян? В колхозе сказали бы: не для того у нас земля, чтобы она зазря пропадала. Не для того мы ее пашем и боронуем, чтобы гонять туда пасти скот. А старики — бывшие красные партизаны, участники гражданской войны, которых в Константиновке до сих пор не перечесть,— те сказали бы еще почище: «Мы кровь проливали за эту землю, а вы над нею глумитесь?..»

Падать духом, однако, было рано. С засухой тоже можно бороться, если найти достаточно воли и сил.

Прежде всего — освободить участок от лишних растений. Затем взяться за сорняки. И взяться так, чтобы вырвать их с корнем, вырвать не только в междурядьях, но и во всех кукурузных гнездах. Машинами это сделать нельзя. Значит, надо сделать руками. И тот, кто проезжал в эти дни мимо участка Василия Ивановича, наверное, тоже начинал верить, что посев можно спасти: уж очень упрямо трудились здесь люди.

Так посев кукурузы и был спасен. К тому времени, когда над родным участком прошумел добрый ночной дождь, выжили все растения. Бесплодных гнезд не оказалось нигде, даже на взлобках.

* * *

Кукуруза названа хлеборобами королевой полей не в шутку, а потому что иначе ее не назовешь. По урожайности зерна, по питательности и кормовым достоинствам с кукурузой не может сравниться никакая другая культура. Кукуруза — это богатство, это — золотой клад.

Но «королева» едва ли не так же капризна, как и всамделишные королевы. Она не поднимется над землей и на два вершка, если не потрудиться над нею в семь потов. Она вскинется во всей красе и изобилии только после того, как изрядно намозолишь возле нее руки.

Может быть, кое-кому обо всем этом надо напомнить. Но только не Кобышеву.

Правда, он мозолей своих не показал, зато назвал цифры, которых невозможно добиться без упорного и настойчивого труда.

В этом году на каждый гектар внесено девять тонн перегноя. На все четыреста пятьдесят гектаров. Четыреста пятьдесят! В здешних местах это самое широкое кукурузное поле. И расположено оно не за околицей, а в пятнадцати километрах от села.

На каждый гектар вывезено девять тонн ценнейших удобрений, и все-таки в том, как Кобышев сообщил эти цифры, как потом, склонив голову над блокнотом, вздохнул и задумался, не почувствовалось, что теперь он спокоен за свой урожай. К чему сейчас это, когда главное еще впереди?

Пусть земля будет такой, где, как говорят, воткни оглоблю, а вырастет телега, все равно кукуруза не даст хорошего урожая, если не выполнишь всего, чего она требует для своего пробуждения к жизни, для роста, для развития и созревания. Чтобы осуществить на кукурузном поле, говоря по-ученому, весь комплекс агротехнических мероприятий, звено обязано выйти на него в течение года четырнадцать раз. И в этом комплексе нет второстепенного. Важно все.

— Иначе нельзя.

На этом и окончился наш разговор с Кобышевым. Но слова, сказанные им на прощанье, мне слышатся и сейчас: «Иначе нельзя!» В них самое основное. И хотя чаще хлеборобы говорят по-другому, говорят, что приложат все силы, чтоб добиться высокого урожая, что свое обязательство выполнят во что бы то ни стало, но дело тут не только в том, чтобы своих слов не бросать на ветер. Оно еще и в том, что в нынешнем году нельзя оставить колхоз без кукурузы, без початков и силоса. Нельзя ни при каких обстоятельствах. Будет нелегко, но наградой станет сознание: ты сделал главное для того, чтобы этот колхоз, твой колхоз, взял новый, еще не виданный разбег вперед — к изобилию и мощи.

* * *

Хорошо встречаться с такими людьми, как Василий Кобышев. Как ни замыкается он, по своей скромности, на замки, все равно душа его распахнута настежь. Че-

ловека видишь первый раз, и все-таки в нем ничего нет для тебя непонятного.

Пусть сколько хочет он хмурится, напускает на себя «сурьез», все равно ему не скрыть свою душу. Если душа благородна и чиста, ее невозможно заставить жить не распахнутой настежь.

Да и чего ее, этой распахнутости, бояться? Ведь в своей жизни молодой коммунист Василий Иванович Кобышев ни в чем не ошибся: ни в друзьях, ни в работе, ни в жизненной дороге. Тем более, что все у него еще впереди. Впереди такое беспредельно широкое поле кипучей и деятельной жизни, что, когда задумаешься над этим, захватывает дух.

СЫНОВЬЯ ЛАУРЕАТА

Как быстро, однако, летит время. Кажется, только вчера старший чабан колхоза «Красный буденновец», Левокумского района, Александр Игнатьевич Чаликов в конце нашей степной беседы сказал: «Все ничего бы, да сильно о малышах своих скучаю...», а вот сейчас узнаю, что эти «малыши» уже сами вздыхают, когда долго не выпадает случая повидать собственных детей.

* * *

Рассказ наш о сыновьях, но начинать его надо с отца. В чабанском братстве овцеводческого Прикумья Александр Игнатьевич Чаликов самый видный и самый заслуженный человек. У него почетное звание лауреата Государственной премии. И хотя теперь ему уже за шестьдесят, чабана не оторвать от своего дела. Заставить его уйти на отдых — значит лишить самого необходимого, самого главного в жизни.

Звание лауреата Государственной премии Александр Игнатьевич получил за участие в выведении новой породы тонкорунных овец.

«Все ничего бы, да сильно о малышах своих скучаю»,— это сказал Александр Игнатьевич как раз тогда, когда вместе с учеными-овцеводами и зоотехниками Левокумского госплемрассадника начал борьбу. Борьбу, про которую бойкие на язык газетчики гово-

рят не иначе, как громкими и красивыми словами — «за торжество великой мичуринской науки».

Взаимодействие среды и организма — в этом советские ученые видят главный секрет успеха в овцеводстве. И ясно: все начинать в таком случае надо не с лаборатории, а с чабанской стоянки. Чтобы создать овцу высокой продуктивности, начать требовалось прежде всего с самого тщательного, прямо-таки любовного ухода за ней.

И Александр Игнатьевич тогда не мог оторваться от отары ни на один день. Вообще-то мог бы, конечно, да только оставить отару без своего глаза считал непростительным: а вдруг подпаски погонят овец не туда, куда надо, или не напоят вовремя? А вдруг ударит мороз или прихватит землю гололедка? Нет уж, хоть смертельно хочется забраться на расписной ковер попутной председательской «Победы», гони, товарищ шофер, эту лакированную красавицу без меня...

И, насквозь прохваченный всеми степными ветрами, он снова встречал навещающих его ученых-овцеводов с таким видом, будто жизнь его на далекой чабанской стоянке как шла, так и идет своим чередом. Будто совсем и не приходится ему бодрствовать напролет круглыми сутками и промерзать до костей в открытой степи. Будто никогда и не бывает ему трудно в жизни...

Говорят: «Новость как гром среди ясного неба». Вот таким громом и был поражен Александр Игнатьевич, когда вдруг узнал, что ему присвоили звание лауреата. Да ему и в голову не приходило, что за его труд последует такая награда.

* * *

Впервые сыновья появились на его чабанском стане еще босоногими. И повод к тому оказался весьма основательный: надо было сообщить отцу, что оба перешли в следующий класс с похвальными грамотами.

— Кем же вы, сыны, у меня стать хотите? — спросил Александр Игнатьевич, любуясь быстро подрастающими хлопцами.

— Моряками! — в один голос ответили оба.

Александр Игнатьевич не возразил: что ж, моряками так моряками.

Так сказал, а втайне подумал: значит, бракуют сы-

новья его профессию. Значит, не пойдут по его дорожке, и слава Чаликовых, потомственных овцеводов, на нем и умрет. Сердце даже кольнула обида.

Серьезного значения всему этому Александр Игнатьевич, конечно, не придал, но с той поры перестал разрешать сыновьям таскать на плечах свою ярлыгу. Нахмурив брови говорил:

— Ярлыга не для забавы. Она для дела. Да и прежде чем брать ее в руки... сперва надо заслужить на то право!

Что это за право, не понималось очень долго. Ведь более неприметного и несложного дела, как у чабана, наверное, не сыскать на свете. Води овец по степи то вперед, то назад — вот и все оно, это дело. Нет, отец, хоть и хмурил брови, просто шутил.

Потом начали замечать сыновья: что ни год, то все больше и больше становилось их отцу уважения и почета. Портрет вывесили в колхозном клубе, а вскоре он появился и в печатной газете. А дальше вообще произошло невероятное: из Москвы пришла весть, что ему присвоено звание лауреата. Лауреата Государственной премии!

Нет, видно, отец не шутил, когда говорил о праве на ярлыгу! Его и впрямь сперва нужно заслужить, это право. Чабанское дело, оказывается, лишь с виду несложно и просто. Было б оно таким, каким его считали Василий и Федор раньше, чабанов не удостаивали бы такой высокой награды.

А еще позже Ксения Максимовна — жена Александра Игнатьевича — так уже и знала: если убегут ее сыновья к отцу на стоянку, скорого возвращения не жди. Заявятся домой, лишь когда их турнут оттуда, чтобы не мешали.

Скрывать сейчас незачем: Александр Игнатьевич, действительно, не один раз давал тогда своим «морякам» по шее. Но, по мере того как они подрастали, делал это все реже и реже. А когда увидел, что сыновья уже по-степному раздались в плечах, сам не разрешал им без его позволения покидать стан.

К тому времени оба уже изнемогли от ожидания: когда же отец вручит им ярлыги. Ну как не поймет отец, что Василий и Федор давным-давно все решили о своей будущей жизни! Никуда они не уедут из родного

села: как и отец, станут чабанами. Слава Чаликовых, потомственных овцеводов, не умрет, нет, не умрет! Наоборот, Василий и Федор разобьются в лепешку, а сделают все, чтобы она приобрела новые, еще более крепкие крылья. Так загадано. На то уже дано друг другу слово.

— Ну, ну, пробуйте,— сказал Александр Игнатьевич, когда не без тайной радости выслушал сыновей до конца.— Только запомните, что Чаликовы еще не бросали своих слов на ветер. Запомните на всю жизнь. У Чаликовых слово всегда было как тот кремень.

* * *

Как тот кремень... Что это значило, объяснять было не нужно. Робеешь, колеблешься—лучше подержи язык за зубами. Лучше промолчи. Но коль что обещал, так сделай. Душа из тебя вон, а сделай.

Как пригодилось потом братьям Чаликовым это отцовское «как тот кремень»! Не будь его, они, наверное, еще в первые дни своего чабанства покидали бы ярлыги в бурьян. И не столько оттого, что сразу пришлось позабыть про холодок и сладчайший предутренний сон, сколько от обиды. Отец не стал их держать при себе, раскидал по разным бригадам, а там не посчитались, что они «сыновья лауреата». И не доверили даже должности подпасков. Только сказали:

— Ишь, какие быстрые. А ну-ка, марш от отары. Что вам делать — на стане скажут...

Только «тот кремень» и помог Василию и Федору перетерпеть все до конца. Закусывали губы, но не позволяли себе ослушаться старших. Надо было привезти воды к водопойным корытам — везли, требовалось очистить кошару — чистили, велели сходить в село — шли.

Благодарные на всю жизнь остались отцу братья Чаликовы за эти слова. Он сказал их тогда потому, что отлично знал, через что им придется перешагнуть в достижении своей цели. Чабанская школа — по-особому суровая школа.

Теперь братья сами вспоминают не без усмешки: хотели с первого дня закрасоваться с ярлыгой на плече впереди овечьей отары! Но профессия, если и передается по наследству, то это совсем не значит, что она по-

падет тебе в руки готовенькой. Тем более — чабанская профессия, в которой столько мудреных секретов и тайн.

Путь накопления зрелости был нелегким, зато, к чему так долго тянулась душа, в конце концов все осуществилось. Кто-то их приметил, кто-то понял, что сыновей Александра Игнатьевича Чаликова просолили насквозь степные ветры не зря. И молодость в счет не пошла, когда в колхозе потребовались бригадиры для новых чабанских бригад. Председательская «Победа» разыскала братьев Чаликовых на пастбищах, среди овечьих отар, в первую очередь.

* * *

Чабанские стоянки не строят в один порядок, а стараются разбросать по степи подальше друг от друга, чтоб сохранить для овец приволье. На Прикумье пасут и зимою, и ясно, чем просторнее пастбищный участок бригады, тем больше у нее возможностей уберечь свою отару от лихой беды — бескормицы.

И в правлении колхоза «Красный буденновец» немало подивились словам Александра Игнатьевича, когда тот узнал, что его сыновей решено поставить во главе чабанских бригад.

— Стоянки их прошу расположить рядом со мной. На моем же участке. Ссоры не будет.

Этой просьбе знатного чабана надо было только радоваться — поголовье тонкорунных овец в колхозе росло с каждым годом и уже едва удавалось выкраивать новые пастбищные участки. Но как, как можно без строгих меж избежать ссор трем чабанским бригадам? И на что Александр Игнатьевич рассчитывает, если вдруг выпадет неурожайный на травы год? Неужто он шел на риск из-за того, чтобы на старости лет пожить возле своих сыновей?

Нет, ни при чем все это! Сыновьям доверялось ответственное дело, и с них теперь нельзя было спускать глаз, чтобы не растерялись, не подвели самих себя.

А что троим станет на пастбище тесно—этого Александр Игнатьевич не боялся. Тесно на пастбищных землях лишь тому, кто еще не научился умно использовать их.

Он так и сказал Василию и Федору, когда крыши их кошар замаячили невдалеке от его стана.

Когда это было? Не так давно — минувшие годы еще можно пересчитать на пальцах одной руки. А вот сколько приснилось с тех пор кислиц неверящим в мирное, тем более — успешное чабанское содружество Чаликовых, видно, уже не сочтешь и на бухгалтерских костяшках. Перепадало за это время все: и суховеи, и засухи, и черная буря, но Чаликовых никому не удавалось обогнать ни в количестве выращенных ягнят, ни в весе настриженной на овцах шерсти. Когда в колхозе начинали подводить итоги соревнования чабанов, они неизменно все трое оказывались впереди.

Сам Александр Игнатьевич, правда, не удивлял. С ним всегда тягаться было не по плечу, а вот как его сыновья, эти вчерашние водовозы, почти с ходу сумели вырваться вперед — это удивляет и сейчас. Василий, например, так тот уже понемногу начал обходить даже отца. Отец получил в этом году от каждой сотни своих овцематок по 120 ягнят, а Василий — по 122.

Удивляет многих, но только не самого Александра Игнатьевича. На его взгляд, иначе и не могло быть: тому, кто еще смолоду полюбил свой труд, кто понял его цену и красоту, тому, как ни натужься, все равно рано или поздно уступишь дорогу...

КРАСИВАЯ ДУША

Чей мальчишка постоянно вертится в паровозном депо, знали все. И потому ни у кого не налегало сердце дать ему подзатыльник за то, что порой сует свой облупленный нос, куда не положено. Имя его отца было высечено на постаменте памятника на братской могиле героев гражданской войны. Когда минераловодские железнодорожники построили для Красной Армии первый бронепоезд, вести его в бой против белогвардейских банд генерала Бичерахова вызвался он, родной отец Костика,— машинист Георгий Дубровин.

А Костик и в самом деле частенько совал нос не туда, куда следует. Стоило кому-нибудь чуть зазеваться — он уже возле реверса. А то завладеет масленкой и начнет лить смазку, куда надо и куда не надо. Сам еще

под стол пешком ходил, а воображал себя заправским машинистом.

Любовь к паровозу, видно, была у него в крови, и люди еще тогда, в годы его малолетства, предопределяли его судьбу: идти ему в жизни дорогой отца.

Но стать машинистом не так-то просто. Чтобы осуществить свою заветную мечту, Костику пришлось много лет учиться. Учиться и после того, как было закончено железнодорожное училище,— на самом паровозе.

Редко кто еще так беспощаден со своим помощником, как машинист паровоза. Но он знает, что делает. Не получится из стажера хорошего машиниста, если на всю жизнь не привыкнет к мокрой от пота рубашке, если еще стажером не пропахнет насквозь паровозной окалиной, нефтью и маслом...

Но Костя Дубровин унаследовал от отца и его упрямый характер: на пути к достижению заветной цели он выдержал все. И сноровистого, трудолюбивого, волевого юношу машинист Королев допустил к рычагам управления паровоза со спокойной душой. Рассказывают, что он даже не оглянулся на уходящий вдаль состав — настолько был уверен в своем новом помощнике.

* * *

Заветная мечта сбылась, но счастье мирного труда у Константина Дубровина продолжалось недолго. Только его приняли в семью машинистов, только он вошел, как говорят, во вкус дела — грянула Отечественная война. Вместо вагонов, груженных золотой ставропольской пшеницей, пришлось брать на прицеп паровоза платформы с уходящими на фронт воинскими частями.

И надолго, очень надолго пришлось забыть про милый сердцу паровозный гудок...[1]

Можно об этом и не вспоминать, да ведь железнодорожников, машинистов, считают людьми глубокого тыла. Во время Отечественной войны никто из них не оторвался от родного дела. Все они остались на своем месте, возле своей семьи. Баловни судьбы, да и только! А знал бы рассуждающий так, что эти «баловни» на-

---

[1] В прифронтовой полосе в целях маскировки всякие гудки на железнодорожных станциях были отменены.

смотрелись в глаза смерти едва ли не больше всех. Паровоз с рельсов не свернешь, если начнут сыпаться на голову вражеские бомбы, не объедешь на нем и охваченный пламенем железнодорожный мост. Если солдата спасала земля, то машиниста—одно лишь отчаянное бесстрашие да находчивость.

Вот и Дубровин — он мог бы столько рассказать о своих встречах лицом к лицу с фашистскими завоевателями. Первая произошла еще в августе 1942 года, когда фашисты вплотную подошли к Курсавке. На железнодорожной станции уже шел бой, а Дубровин, возвращаясь из дальнего рейса, и не подумал остановить свой паровоз на полпути. Встречные машинисты сообщили, что там, на станции Курсавка, остался целый эшелон с зерном,— его надо во что бы то ни стало угнать от врага.

Зачем залетел на полных парах паровоз на объятую пламенем станцию — фашисты сообразили не сразу. О намерении машиниста они догадались лишь тогда, когда паровоз с хлебным составом оказался за семафором. Выхваченный прямо из-под их носа поезд они остановить уже не могли.

Другой раз дело было под станцией Дебри, где в то время шло наступление наших войск. Артиллеристы срочно потребовали снарядов, но почти все грузовики безнадежно увязли в глубоком снегу. Тогда Дубровин предложил: «А что, если доставить боеприпасы к месту боя прямо в железнодорожных вагонах? Ведь были же случаи...». Его пытались отговорить: слишком рискованно. Дорога под беспрерывной бомбежкой и артиллерийским обстрелом. Больше того, к полотну прорвалось несколько вражеских танков. «Ничего,— ответил молодой машинист,— как-нибудь проскользну...» — и ушел к своему паровозу, чтобы тотчас, не ожидая ночной тьмы, тронуться в путь. Подивились, но не возразили — ведь шла война.

Как он прорвался сквозь вражеский огонь к линии фронта — Дубровин не помнит, но хорошо помнит, что именно после этого рейса кто-то из знакомых, увидев его, сказал:

— Э, брат, да ты уже начал седеть! Рановато, конечно, но и отец твой в таком же возрасте... В общем— ладно.

* * *

Рельсы, рельсы, рельсы...

Хочется остановить взгляд на вершинах гор или на беспредельном разливе зрелых нив, да нельзя: надо все время смотреть вперед, на эти блестящие то под солнцем, то под светом прожектора бесконечные рельсы.

Нет, не бездельничает машинист, когда он, сложив на груди руки, высовывается из окошка бегущего по путям паровоза! Он и здесь, на большом перегоне, не находит свободной минуты. Смотреть вперед надо очень внимательно. Железнодорожный обходчик не всегда вовремя заметит лопнувший рельс или оползень полотна. Да и мало ли переходит в степи через шпалы коровьих стад?

Но и тогда, когда рельсы просматриваются до самого горизонта, машинист не любуется проплывающей мимо красотой родной земли. Он по-прежнему весь в напряжении нервов; он косится на манометр, на водомерное стекло, он опять и опять настораживает слух, чтобы сквозь шум и грохот тендера и колес ясно расслышать работу механизмов машины: все ли в порядке с сальниками и подшипниками, как дело с паром, с инжектором и тормозами. А потом — не пора ли еще раз подсчитать время и расстояние для того, чтобы прибыть к месту своего назначения точно минута в минуту.

Устает порой за смену Константин Георгиевич, устает так, что по возвращении домой засыпает сидя, не успев снять сапог, и все-таки еще не было случая, чтобы он поднимался на свой паровоз без радостного волнения. Прошло сколько лет, но и теперь он ждет не дождется минуты, когда в предутренней мгле его окликнет знакомый гудок...

Утекло в жизни столько воды, а и сейчас Константин Георгиевич заступает на вахту с горячим сердцем. Стоит ему забрать в свои руки реверс — и его уже не узнаешь: будто помолодеет лет на десять. Изменится и его характер. Как только взберется на паровоз, куда и денется всегда приветливый, добрый, сговорчивый Дубровин. Особенно приметно это диспетчерам.

— Константин Георгиевич, твой состав на пятом пути. Можешь брать.

— А на кой ляд мне этот состав?

— Как так?

— А вот так. Попервоначалу составить его надо как следует. Чего он обрезан, как у кобеля хвост?

И тут уж его не отговорить—все равно заставит добавить к составленному по всем законам и правилам товарному поезду еще двадцать, а то и тридцать вагонов.

— Нам-то, Константин Георгиевич, ведь все равно. Только как ты сдвинешь с места такой состав?

— Не беспокойтесь, сдвину.

— Гляди, забуксуешь на подъеме. Выручать же придется!

— Не придется.

— А если потребуется остановка на полустанке? Как втянешь такой длинный состав на запасный путь?

— Не потребуется остановки,— спокойно отвечает Дубровин и оглашает станцию последним гудком.

* * *

В паровозе нет никакой тайной силы. С какой силой он сошел с конвейера завода, с той и остается до конца своих дней. На что он способен, на то и рассчитывай, когда кладешь его технический паспорт в карман.

Это так и в то же время не совсем так. Паровоз той марки, который водит Дубровин, в Минераловодском локомотивном депо — у многих, а ни у кого он не обладает такой силой, как у Дубровина. У него прямо-таки паровоз-богатырь. Посмотрите, как плавно сводит он с места свой, казалось бы, непосильный груз, как потом набирает скорость. Уже за семафором ни на одну площадку дубровинского состава не вскочит и спортсмен-удалец.

Кому неизвестно, что на седьмом километре от станции начинается подъем, а за ним новый, еще более крутой подъем. Там едва-едва выбираешься на плоскость при весовой норме состава, а у него, у Дубровина, около трехсот тонн излишка. Но вот поди же — из диспетчерской опять сообщили, что он прибыл на соседнюю станцию точно по графику, минута в минуту.

Выходит, она все-таки есть у паровоза, эта тайная сила, есть!

Умные, много видевшие глаза Константина Георгиевича начинают явно смеяться:

— Она-то есть, только у паровоза ли? Детство свое помните? Наверное, тоже любили взбегать на курган? Разбежишься — и вмиг там, на его вершине. Будто кто вскинул тебя. Только если хорошо рассчитаешь! А не рассчитаешь — без песочка не обойтись.

— Какого песочка?

— Да видел я это не раз, — уже открыто смеется Дубровин. — Подъем-то всего два градуса, а машинист впереди своего состава с ведром. Зачерпнет из него рукой песочка — и под колеса паровоза: иди, мол, милый, иди, не крути колесами на одном и том же месте...

И потом серьезно добавляет:

— Силу инерции мы, конечно, все давно знаем. Только грош цена этой силе, если не рассчитаешь, если точно не определишь, где, на какой шпале начать разгон. Ведь не сам взбегаешь на подъем, взбегать заставляешь поезд весом в добрую тысячу тонн. Может быть, тот самый поезд, который на какой-то стройке Урала или Дальнего Востока уже заждались...

Последнюю фразу Константин Георгиевич произносит будто так, между прочим, но именно этой фразой он открывает свой главный секрет: не забывай, всегда знай и помни, что тот состав, который ты мчишь по рельсам, давно ждут.

Ждут потому, что берегут время.

Потому, что ни на один день не хотят приостановить — даже в пустыне, даже за Полярным кругом — созидание большой и счастливой жизни.

ЧЕРНАЯ БУРЯ

Кто не знает, как недавней весной над Ставропольем пронеслась черная буря? Немилосердный «астраханец» почти две недели хлестал степь. Почти две недели! Нетрудно представить, что он мог натворить за это время на колхозных и совхозных посевах, если даже сайгаки не выдержали его напора и с Черных земель ушли под самое Пятигорье.

Судьба урожая в нашем крае тогда обеспокоила каждого. Всюду только и говорили о разгулявшейся стихии.

Значит, новым летом ставропольские хлеборобы не

порадуют Родину своей золотой пшеницей? Значит, на этот раз они не выполнят перед Родиной своих обязательств?

Шли дни, и вот по воле случая я оказался среди полей совхоза «Туркменский», Петровского района. Взглянул я на поля и залюбовался пшеницей, которая зрела вокруг. Густая и ровная, она медленно колыхалась под легким ветром. Сойди с межи — и сразу окажешься в ней по пояс. Брось на ее колосья фуражку — и она повиснет на них. Встряхни на ладони продутое от половы зерно — и оно зазвенит, заискрится, как дробь.

А ведь была черная буря и здесь. В отдельных местах следы ее сохранились до сей поры. Еще утром невдалеке от центральной усадьбы совхоза я обратил внимание на лесную полосу из плотно примкнувших друг к другу рослых дубков. С наветренной ее стороны лежал целый сугроб пыли...

* * *

Разговор с директором совхоза не затянулся — мне больше нужен был старший агроном, да и как-то сковывал нашу беседу неприветливый пожилой человек, молчаливо сидевший на диване в углу кабинета. Его нисколько не интересовало, о чем мы там говорим. Он просто ждал, когда прекратится наша, на его взгляд, скучнейшая беседа.

Мне необходимо было повидать старшего агронома совхоза. Я уже не сомневался, что главный секрет великолепной победы над черной бурей находится у него, у Николая Васильевича Хлудова. Лично познакомиться с ним еще не довелось, но имя его я знал давно. Он считался в крае одним из самых старейших и опытных степных агрономов. Воспитанник Тимирязевской академии, он посвятил всю жизнь тому, чтобы солончаковая и суховейная степь стала не только плодоносной, но и высокоурожайной.

Я покидал директора с мыслью найти Николая Васильевича, где бы он ни пропадал в этот час. Но каково же было мое удивление, когда выяснилось, что человек, который молчаливо сидел в углу кабинета, и есть Хлудов.

Он не объяснил мне, почему, слушая нашу беседу с

директором на такую, казалось бы, дорогую для него тему, сидел и молчал. Я понял это сам, но понял лишь после того, как вместе с ним исколесил вдоль и поперек совхозные земли. Николай Васильевич просто не представлял, как о таком деле можно разговаривать в кабинете. Разговор надо начинать не с директором и не с ним, хоть он и агроном, а с людьми, которые от ранней весны до глубокой осени днюют и ночуют в поле. Своей победой над черной бурей совхоз обязан главным образом им — сельским механизаторам.

* * *

Встречи с механизаторами не получаются длинными: в степи они не сидят без дела, и как-то неловко отрывать их от работы.

Встречи с такими людьми бывают почти мимолетными и все-таки запоминаются надолго. Без новых впечатлений отсюда никогда не уедешь. И впечатления эти, как всегда, и радостны и приятны.

Вот и сейчас я хорошо помню, с каким чувством расставался и с Иваном Александровичем Поповым, и с Иваном Семеновичем Малиевым, и с Пантелеем Степановичем Тимошенко. Замечательные механизаторы, они рассказали все, что интересовало меня, но и словом не обмолвились о той роли, какую сыграли сами в нелегкой борьбе с черной бурей. «А что, мы!? Мы — народ рядовой. Что нам советовал главный агроном, то и делали».

Без совета Николая Васильевича Хлудова и в самом деле им не обойтись бы. Этот энтузиаст сельского хозяйства уже давно ратует за то, чтобы шаблон в земледелии был отброшен раз и навсегда. Он, например, пришел к выводу, что так пахать землю, как пахали ее под колосовые культуры прежде в здешних местах, нельзя. В приманычских степях надо предвидеть не только засуху, но и черную бурю. Поэтому пахать почву надо так, чтобы никакая буря не вырвала из борозды ни одного всхода. Чтобы эта самая черная буря оказалась обычным степным ветром.

Молодые механизаторы, те, может быть, по вине своей молодости и не придали большого значения идее агронома Хлудова, но пожилые — эти ухватились за

нее, как говорится, обеими руками. Кому-кому, а им, давно поседевшим, как было не знать, что такое черная буря! Это сейчас, в наши дни, от нее есть какая-то защита — сейчас стали на ее пути сотни лесных полос и разлились десятки искусственных озер и каналов,— но в прежнее время она гуляла по Ставрополью, сколько хотела и где хотела. А раз загуляла, клони, хлебороб, свою голову ниже,—нет, не от летящей в глаза степной пыли, а от своих безнадежно горестных дум. И сомневаться не надо, что с того поля, в которое ты вложил весь свой труд, ты не вернешь даже семян.

А черную бурю можно обезвредить совсем, если пахать так, как предлагает агроном Хлудов.

За чем же остановка? Трудное это дело? Так разве советские механизаторы когда считались с трудностями?

И вот они призадумались, эти старейшие механизаторы совхоза: как же им перестроить тракторный плуг на новый лад? Опустить лемехи — дело нехитрое, но, чтобы плуг, отваливая пласты земли, одновременно начисто уничтожал гребни и глыбы, а потом спрессовывал их до предела, над этим требовалось подумать.

Комбинированный пахотный агрегат, как назвали его потом в совхозе, рождался долго и нелегко. Неудач было больше, чем удач, но многодневные волнения, сомнения и раздумья старых механизаторов не пропали даром.

Я видел его, этот пахотный агрегат. Поставленная перед совхозными механизаторами задача решена и своеобразно и технически остроумно. Это и впрямь комбинированный пахотный агрегат. Каким бы высоким ни вышел гребень борозды, его тут же срежет и разровняет специальный брус, а попавшая под его железные зубья глыба раскрошится, как от удара кувалды. За брусом следует каток. Сразу после лемеха выжать из почвы воздух — значит, не дать заиграть над ней мареву. Красиво в степи осеннее марево, однако лучше, если его нет: это не сказочная отара бежит по степи, а уносится из земли накопленная за лето драгоценная влага.

И как прав оказался агроном Хлудов; в приманычских степях предупреждать надо не только засуху, но и черную бурю. Не запустили бы в дело позапрошлой

осенью механизаторы совхоза «Туркменский» свой комбинированный пахотный агрегат, им так же, как другим механизаторам края, пришлось бы почти все пересеять.

А они не пересевали ничего, даже на взлобках, на самых крутых откосах увалов. Черная буря не повредила озимые посевы совхоза «Туркменский» ни на одной клетке.

СУДЬБА

В июльские дни Ставрополье — все в золотом свете. Приглаженная косами жаток пшеничная стерня блестит под солнцем тысячами тысяч зеркал.

Есть что-то торжественное и прекрасное в тех пейзажах, которые встают перед взором, когда едешь в июльские дни по Ставрополью. Глаза радует все: и плывущие над вздрагивающей полосой марева комбайны, и копны соломы, и снующие по степи автомашины, и, наконец, сама стерня.

Дорога наша длинна, тряска и пыльна, но это не угнетает: ведь вот опять показался гудящий комбайн, опять впереди замаячили на чьем-то току высокие, словно степные курганы, вороха очищенной пшеницы, опять из-за ближнего увала в направлении на элеватор тянется бесконечная колонна автомашин.

Кому что любо в июле: кому море, кому лес, а я ни на что не променяю в такое время залитую жарким солнцем ставропольскую степь.

* * *

Где же он, этот Григорий Иванович? От ближней железнодорожной станции уже больше сорока километров, а, говорят, до его комбайна, как и прежде, невесть сколько еще ехать.

Что ж, будем ехать. Григория Ивановича Чумакова нам нельзя не повидать. Из станицы Советской пришла весть, что Григорий Иванович Чумаков взял курс на верную вторую Золотую Звезду. Каждые сутки он очищает стерню от валков на 70 гектарах и высыпает из бункера своего комбайна в кузовы автомашин не

менее полутора тысяч пудов зерна. А это и в самом деле надо уметь.

Наконец мы сворачиваем с дороги влево, прямо на жнивье.

Низко срезанная стерня приятно шелестит под шинами вездехода-«газика». Дорогу теперь ограничивают уже не кюветы, а валки пшеницы. Они лежат на земле, словно вытянутые под шнур — такие ровные. В этом чувствуется не только верный глаз, но и точный расчет — чтобы на подборке зря не крутить штурвал комбайна.

В этих местах степь не такая ровная, какая осталась за спиной; она здесь то и дело перекатывается с увала на увал—отсюда уже как на ладони видны хребты Кавказских гор,— и комбайн Григория Ивановича появляется из-за ближнего бугра, словно подброшенный высокой волной морской катер.

Когда комбайнер трудится на подборке валков, как бы он ни был вам хорошо знаком, вы его сразу не угадаете. Люди у работающего комбайна вмиг становятся все на одно лицо — столько на них оседает половы и пыли.

И все-таки Григория Ивановича я узнал еще издали, хоть и видел его лишь один раз, и то не в поле, а на краевом совещании механизаторов. Узнал по манере держаться: без суеты, без лишних движений, очень уверенно и спокойно. Он будто и не заметил нашего «газика», не оторвал своего внимательного взгляда от решет, пока, видимо, не убедился, что там все в порядке.

Что ж, здравствуй, Григорий Иванович! Золотую Звезду на грудь ты, конечно, сейчас не привинтил, но кому не известно, что ты один из старейших в нашей стране Героев Социалистического Труда? В двадцать два года от роду стать Героем Социалистического Труда — такая счастливая судьба не каждому выпадает на долю.

* * *

Только выпала ли она на его долю?

Нет. Свою судьбу Григорий Иванович создавал сам, собственными руками.

Началось еще на школьной скамье. Как сейчас, Гри-

горий помнит эти минуты. Шел урок—но все, в том числе учитель, вдруг насторожились, прислушались. Где-то невдалеке возник никому еще не знакомый дробный гул. Учитель подошел к окну и громко крикнул:

— Глядите, трактор!

Учеников вынесло из-за парт одним мигом. Смотреть невиданную машину бросился весь класс, вся школа, вся станица. Первый трактор прошел по улице под горячие рукоплескания, громкие крики, приветствия. Григорий смотрел во все глаза на этот трактор и думал:

«Вот бы и мне, вот бы и мне проехать через всю станицу на нем самому...»

Но в эту пору он только начинал свою жизнь, и счастье водителя первого трактора, конечно, ему не досталось. Он сел за руль, когда этих машин в родной станице были уже десятки.

И тут опять:

— Глядите, комбайн!

Для человека, который полюбил технику с детства, появление всякой новой машины — великая радость, но у Григория эта радость вскоре стала несчастьем: как он ни просился, его так и не послали на курсы комбайнеров. Сказали, еще молод, еще надо год, другой, третий поводить трактор. Вот что ему сказали, когда он всем сердцем, всей душой был уже там, на мостике комбайна...

Смириться, конечно, трудно, но надо было смириться. И, в конце концов, стоило ли сильно убиваться: ведь годы, они летят почти незаметно. Так думал Григорий, таская на своем «ЧТЗ» сцеп двух комбайнов. Не подумал он тогда об одном: когда пролетят эти годы, ему все равно не придется сменить рычаги трактора на штурвал комбайна.

* * *

Тракторная колонна Советской МТС вытягивалась из двора почти до рассвета. Не слышалось ни смеха, ни веселых окриков. Уезжали молчаливые, мрачные. Только бы работать в эту пору: пахать пары, убирать хлеб. А тут — эвакуация, дорога в безвестность.

Шли день и ночь, целый месяц. Снаряды летели через голову, падали по обочинам грейдера. Ночной путь

освещали вражеские ракеты. Но шли. Спасти богатейшую технику надо было любой ценой. И спасли. И тракторы свои, и комбайны не поставили под навесы, а круто повернули на поля азербайджанских колхозов. И там не спросили, а прямо-таки приказали:

— Ну-ка, показывайте, где надо косить, молотить и пахать.

Бежали дни и недели. Месяцы. Все чаще и чаще стали приходить радостные вести. Немецко-фашистские оккупанты не смогли форсировать Терек, они остановились, перешли к вынужденной обороне. В отдельных местах под нажимом советских солдат откатились назад, бросили на поле боя сотни орудий и танков.

А через месяц Советская Армия повела наступление по всему фронту.

И механизаторы в один голос сказали:

— Собираемся, хлопцы, домой.

Домой! Хоть к Азербайджану уже привыкли, хоть уже грустно было расставаться с азербайджанскими знакомыми — людьми, с которыми так сроднились.

* * *

Весна пришла на освобожденную землю небывало рано, и в поле выехали, считай, не завернув на улицы родной станицы. Приходилось работать едва ли не за десятерых, но землю засеяли всю, до гектара. Хлеб в то время был приравнен к оружию.

А потом надо было взяться за ремонт комбайнов. И это оказалось не менее сложным, чем сев. Некоторые комбайны уже пришли в такую негодность, что неизвестно — был ли смысл приступать к их ремонту.

Особенно комбайн номер десять, вышедший из строя еще в Азербайджане и притащенный назад в родную МТС так, из жалости.

Сиротливый вид этого комбайна и нарушил покой Григория Чумакова. Григорий по-прежнему работал на тракторе, но, по мере того как подрастала пшеница, им, как всегда, как всякое лето, овладевала зависть к комбайнерам. А что, если рискнуть — упросить директора, чтобы отдал ему этот самый комбайн? Неужели и вправду нет никакого смысла начинать ремонтировать? Не может быть: отремонтировать машину можно любую...

Была не была! — и Григорий решительно распахнул дверь в кабинет директора.

— Берусь!

— Засмеют же тебя, если ничего не выйдет,— ответил директор.

— Ну и пусть!

— Берись. Только заранее предупреждаю: не даю ни одной запасной части. Их и так в обрез, тютелька в тютельку.

С того дня Григорий не отходил от своего комбайна ни днем, ни ночью. Некогда было сбегать домой, умыться, побриться, повидать мать. Не было времени перевязать, залить йодом ссадины на руках. Иногда засыпал прямо на хедере, среди лежащего вокруг инструмента.

— Брось, Григорий, все равно толку не будет, — говорили ему механизаторы, когда подходили к комбайну номер десять.— Он уже отжил свой век.

Григорий не отвечал. Он и сам хорошо видел, что комбайн отжил свой век, но отступать было нельзя. На то, что его поднимут на смех — плевать, сердце замирало от мысли, что вот такая могучая машина совсем не будет пущена в дело. А дела-то сколько! Урожай созревал на диво богатый; в дни уборки наверняка пойдут в ход лобогрейки, а возможно, и косы, а тут на дворе МТС как стоял, так и останется стоять новой марки мощный комбайн.

Отступать было нельзя, и Григорий, чтобы найти запасные части, где только не побывал, куда только не заглянул. Его видели в соседних станицах и невесть где в степи, возле подбитых фашистских танков. К своему комбайну тащил он все, что можно было перековать или переклепать, а затем приладить на нужное место. У комбайна номер десять образовалась целая гора металлического лома.

Работы было еще по горло, а до начала уборки оставались считанные дни. Пшеница зрела необыкновенно дружно. Она на глазах перекрашивалась в золотой цвет. Звенящий шум колосьев уже слышался всюду. Волны, которые поднимал на нивах ветер, становились ровнее и глаже. Будто успокаивалось богатое хлебное море.

Григорий торопился.

Что дело он затеял верное,—к этому времени убедились в МТС почти все. Давно смилостивился над ним

директор: нет-нет да и выкроит для комбайна то новое решето, то новую цепь Галля. Даже надоедать начал — в течение дня наведывался к Григорию раз пять все с одним и тем же: «Ну, как дела? Двигаются?»

А когда Григорий наконец собрался испробовать мотор и ходовую часть комбайна, сказал неожиданное. Нет, не потому неожиданное, что впервые в жизни назвал по имени и отчеству, неожиданное по-другому:

— Знаешь что, Григорий Иванович, мы тут думали и решили — на трактор тебя больше не возвращать. Подбирай себе хорошего помощника и давай на этом самом комбайне в поле убирать урожай. По рукам?

* * *

Сколько в ту страдную пору Григорий Иванович убрал гектаров пшеницы, он не запомнил, но ему никогда не забыть, с каким трудом проходила эта уборка. Вправду тогда говорили: тыл — почти тот же фронт.

Дорог каждый день, каждый час, а тут остановка за остановкой: то из-за того, что не оказалось запасной части, то из-за того, что некуда было высыпать из бункера намолоченное зерно. За водой для мотора ходили с ведрами за несколько километров. Не хватало ни людей, ни подвод, ни горючего. Натыкаясь на брошенное фашистами оружие, косы хедера рвались, как ремни. Да и немало по полям лежало еще не разряженных противотанковых мин: того и гляди — взлетишь на воздух.

Комбайнерам доставалось в то лето как окаянным, и, признаться, были минуты, когда Григорий Иванович доходил до отчаяния.

— Да, прямо до отчаяния,— рассказывал Григорий Иванович еще при первой нашей встрече.— Пшеница осыпается, а я стою посреди загона. И не только из-за того, что оборвался на машине последний ремень,— иной раз стою из-за того, что не соображу, как правильно отрегулировать барабан или зерноочистку. Опыта не было еще никакого, кот его наплакал. Схватишься за волосы и мечешься вокруг комбайна как затравленный...

Но вспоминать об этом Григорий Иванович не любит. Да и к чему? Пережитое давно позади и, как все прошедшее, никогда не повторится. «Коммунара» сейчас на полях можно и не встретить — его давно заменили

самоходные комбайны. Да и сама уборка хлебов ведется совсем по-иному — раздельно. Теперь не надо ежеминутно соскакивать с площадки комбайна и снова ахать при виде необмолоченных колосьев в копне соломы. В дни уборки можно работать напролет круглыми сутками, без единой остановки, если бы...

— Если бы не Анна Ивановна, наша бригадная кухарка,— пошутил Григорий Иванович.— А то забежит со своими кострюлями наперед и кричит: «Только через мой труп!..»

* * *

«Что ж, здравствуй, Григорий Иванович! — подумал я, когда его комбайн, не останавливаясь, не сбавляя скорости, прогрохотал мимо.— За это я на тебя не в обиде. Я хорошо понимаю, почему ты, хоть и узнал меня, не остановился».

Но что, однако, мне делать? Как же остановить тебя? Не поехать ли, не разыскать ли в степи Анну Ивановну с ее кастрюлями и борщом, в надежде на ее грозный и решительной крик: «Только через мой труп!»?

СОЛНЦЕ В БОКАЛЕ

Виноградный совхоз «Прасковейский» расположен в пяти километрах от города Прикумска. А этот город вы не можете не знать, потому что некогда он назывался Святой Крест. В один голос вы скажете: «Помним, помним: там — могила Ивана Кочубея!» Легендарного героя гражданской войны белогвардейцы казнили на площади этого города.

Всего в пяти километрах от Прикумска виноградный совхоз «Прасковейский». Лишь в пяти километрах. А ведь Прикумск — это степной город. В летнее время здесь невыносимый зной, а зимой — стужа, от которой нет спасения и в овчинных тулупах. Какой же может тут рядом быть виноградный совхоз?

Но он есть. И уже знаменитый. И не только на всю нашу страну, становится знаменитым на весь мир. Вот уже четвертой международной золотой медали удостоен совхоз «Прасковейский» за тот сок, который он выжимает из плодов своей выветренной еще с сарматских вре-

мен солончаковой земли. Перед бесподобным вкусом и ароматом этого сока подняли руки виноделы нашего благодатного Крыма — родины, казалось бы, неповторимой «Массандры»,— да и всей французской Бургундии и Шампани. Нет, они еще не пробовали такого вина, какое представили для мировой дегустации никому не известные советские виноделы из степного Прикумья, что на Северном Кавказе.

* * *

Говорят, для того чтобы понять какой-нибудь край, нужно преломить с ним хлеб и разделить с ним чашу его вина... И это верно.

Хочешь по-настоящему узнать Прикумье — непременно отведай вина под названием «Мускат прасковейский».

Вот он стоит этот «Мускат» в хрустальном бокале на одном из столов лаборатории Прасковейского винного завода.

Солнце в окна не светит, а он переливается всеми цветами солнечной радуги. На дворе зима, а в лаборатории — все запахи майских цветов. Не о таком ли вине однажды сказал великий Горький: «Пил и восхищался. Да здравствуют люди, которые умеют делать вино и через него — вносить солнечную силу в души людей!»

О таком, именно о таком. Убедиться можно с одного глотка. «Мускат прасковейский» — вино превосходнейшее. В нем все: и редкий вкус, и аромат винограда, и запах мяты и роз. Густое и сладкое, как мед, оно сразу наполняет тело и теплом и бодростью. В золотистый напиток словно кто-то вдохнул душу—так богато он одарен «солнечной» силой.

Теперь не ясно ли, что прасковейские гроздья муската ничем не уступают ни крымским, ни бургундским. Они наливаются таким же чудесным соком, как и в местах благодатных. Нет, неверно, что мускатная лоза способна давать отличные плоды лишь в вызолоченных постоянным солнцем южнобережных долинах. Она щедро дарит их на сухом, резком Прикумье.

Знать об этом и приятно, и радостно. Ставропольцы сделали больше, чем открытие,— они одержали над суровой степной природой замечательную победу. Достойно восхищения, как прасковейцы природнили мускат на

своих суходольных землях. Потребовались не месяцы, а многие годы, чтобы заставить этого капризного переселенца с солнечных берегов Крыма давать на Прикумье полноценный урожай.

Виноградная лоза! Миллионы людей пьют за здоровье друг друга ее чудесный сок, но кто знает, с каким великим трудом добывает его виноградарь? Ни одна произрастающая на земле культура не требует столько забот, тревог и волнений, как виноградная лоза. С ладоней виноградаря мозоли не сходят круглый год. Круглый год он полон бесконечных трудов и хлопот. В его руках то лопата, то секатор, то факел. Выпрямит спину — и тут же снова наклоняется над виноградной лозой. Ее надо спасти от мороза, сохранить от сорняков, от страшных болезней — мильдью и одиума. Ее надо искусно обрезать, удобрить, прополоть, подвязать на торкалах, опрыскать медным купоросом, а потом опять прополоть, подвязать и опрыскать. Хлебопашец может передохнуть, когда засыплет свой урожай в общественный закром, а виноградарь этого сделать не может. Срезав с лозы сахаристые гроздья, он тотчас берет в руки секатор, а после секатора — простую лопату. На долгие дни виноградарь становится землекопом. Все тысячу сорок кустов на гектаре он закрывает на зимнее время толстым слоем земли — добрую тонну на куст,— ибо на поверхности не должен остаться даже листочек.

А до первой капли четырежды золотомедального «Муската прасковейского» путь оказался несравненно более трудным. Корзины с виноградными гроздьями — это полдела. Дальше надо не только самозабвенно трудиться, но уже творить. Ведь технология виноделия, несмотря на кажущуюся простоту, не проста. Она требует и опыта, и умения, и чутья, тонкого понимания сложнейших химических процессов, происходящих в виноградном соке на всем протяжении его жизни. Хорошее вино не «делают» и не «вырабатывают», а создают. Создать вино надо было хорошее. Нет, не для того, чтобы затмить славу шедевров Крыма — южнобережных мускатов, и не для того, чтобы вино составляло несчастье человека, а, наоборот, чтобы было оно его счастьем, чтобы через «Мускат прасковейский» и правду «вносить солнечную силу в души людей», чтоб пили его действительно на здоровье, только на здоровье!

* * *

Но где молодому виноградному совхозу было найти настоящего винодела? Ведь их, настоящих, как в Крыму, так и на всем Кавказе можно пересчитать по пальцам.

Тогда-то и появился в совхозе Иван Гаврилович Татаренко. «Талантов у меня особых на это дело, конечно, нет, — сказал он директору совхоза, — но, как делается вино — знаю. С малых лет возле сусла.[1] Лиха беда — начало».

— Что ж, начинай,— ответил директор.— Бери ключи от погребов и командуй. Сусла в наших бутах[2] — до тысячи декалитров.

Давно ли это было? А сейчас Иван Гаврилович открывает ящик стола, и там сотни конвертов. «Мускатом прасковейским» восхищаются всюду.

Иван Гаврилович Татаренко зря сказал, что у него как у винодела нет никакого таланта. Чтобы придать труду прасковейских виноградарей такую блестящую форму, без таланта не обойтись. Нужно искусство, настоящее искусство для того, чтобы сок прасковейской суходольной лозы превратился в отменное вино.

Вы, наверное, видели, как художник подбирает краски для своей картины. Едва ли не так подбирает элементы купажа для своего вина и винодел Татаренко. Он старается учесть все: и аромат, и букет, и вкус, и чистоту. Учесть молодость, зрелость вина, его достоинства и пороки — да все, решительно все.

Уже многие, даже сами виноделы, в восторге от его «Муската» — вино и вкусное, и сладкое, и ароматное, и на цвет, как тот янтарь, а Иван Гаврилович говорит:

— Нет, это еще не вино. Во всяком случае, это еще далеко не то вино, которое нам надо создать.

Пить «Мускат прасковейский» уже легко и приятно, но в нем, на взгляд Ивана Гавриловича, пока не обнаруживается того, что нужно. И не обнаруживается самого главного: гармонии всех положительных качеств, которые должны быть в хорошем вине. В нем, в этом вине еще не связаны в одно вкусовое целое экстрактивные вещества, кислоты и эфиры, в нем еще не чувствуется настоящий вкус. Определять это помогает Ивану Гаври-

[1] Сусло — виноградный сок.

[2] Буты — бочки.

лбвичу весь приобретенный опыт и тонко развитый вкус — качество, необходимое знатоку вина, как слух — музыканту.

Поискам и волнениям винодела, кажется, нет конца. Свой мускат он опять и опять купажирует, переливает, фильтрует.

И разливать по бутылкам разрешает лишь тогда, когда ясно почувствует на своем языке, что вино идеально. Идеально во всех отношениях, именно такое вино, о котором каждый, кто наполнит им бокал, скажет: «Да, это вино! Такое вино и в самом деле можно пить на здоровье, только на здоровье».

И, возможно, добавит по-горьковски: «Да здравствуют люди, которые умеют делать вино и через него — вносить солнечную силу в души людей!»

ЮНОСТЬ И СТЕПЬ

На Черных землях чабаны встречаются друг с другом только у общего овечьего водопоя. Чтобы повидаться, иного времени им не выбрать. Черные земли — это не заоколичный лиман. Здесь всегда надо быть настороже. Утро наступит ясное, тихое, теплое, ему не нарадуется душа, а в полдень может забушевать такое, что и белого света не взвидишь.

Да и этот чезноземельский вор и бродяга — волк, он только и ждет минуты, когда чабан повернется к своей отаре спиной...

Именно потому чабан Любченко, когда пришел со своей отарой на Черные земли, долго не мог собраться навестить старшего чабана совхоза «Россия», Прикумского района, Ивана Ефимовича Тимошкова. А с ним они уже много лет дружны.

Возможность представилась по воле случая: свой бригадный колодец потребовалось очистить от ила, и на полдневный водопой отару пришлось вести к тому колодцу, куда обычно подгонял овец Тимашков.

Отару Ивана Ефимовича чабан Любченко угадал еще издали и заторопил в ту же сторону своих мериносов.

Но что бы это значило? От водопойных корыт ему никто не помахал в знак приветствия. А такого еще не случалось.

Может, Любченко ошибся и отара совсем не Тимашкова. Но нет, отара его. Узнать ее можно сразу. Овцы у Тимашкова всегда на диво крупные и здоровые. Двухсоткилометровый переход на Черные земли не отражается на них нисколько.

Да и тот парень, что шагает впереди отары,— разве это не его подпасок? Что это Рублев — сомнения нет никакого: и фигура, и походка его, и та же самая, лихо сдвинутая на затылок, давно выцветшая военная фуражка.

Очередь на общих черноземельских водопоях соблюдается строго — и Любченко встретился с Николаем Рублевым только после того, как тимашковские овцы, утолив жажду, опять потянулись в степь. Крикнул ему еще издали:

— Неужто занедужил Иван Ефимович, не пришел в этом году на Черные земли?

— Нет, все в порядке,— ответил Рублев.— Он тут. Только теперь я буду... не с ним...

Озадаченный Любченко даже приостановился: с кем же ты теперь будешь? И как это можно после Ивана Ефимовича — такого доброго, делового, опытного человека — пойти в подпаски к кому-то другому? Столько лет проработать вместе в полном согласии — и вдруг расстаться.

Но Рублев уже догадался, почему чабан Любченко удивленно вскинул на лоб свои выгоревшие на солнце брови и, когда подошел к нему вплотную, сказал как бы извиняясь:

— Нет, Евдоким Иваныч, я тут ни при чем. Это он сам решил так: хватит, говорит, тебе, Микола, ходить в подпасках. Говорит, как придем на зимовку, становись старшим чабаном в моей бригаде, а я приму другую, какую-нибудь отстающую.

И, тихо вздохнув, добавил:

— Вот и придется теперь мне самому, без него. Самому нести ответственность за свою отару...

* * *

До Николая Рублева в совхозе «Россия» не было молодых бригадиров чабанских бригад. Искони поручалось это дело убеленным сединой овцеводам. Да и как пове-

ришь, что люди комсомольского возраста способны справиться с ним? Ведь бригадиру, старшему чабану, вверяется судьба целого стада — 800—900 тонкорунных овец, которым, если на то пошло, цена — миллион.

Не разделял такого взгляда один Иван Ефимович Тимашков. Что за чушь несут повсюду? Да разве в седой бороде дело? Иной всю жизнь прокрутится возле овец, а толку с него как с козла молока, а другой, глядишь, хоть только вчера и бегал под стол, такую проявит смекалку да сноровку — диву даешься.

И чтобы не быть голословным, Иван Ефимович приводил пример. Вот у него сейчас подпасок — Николай Рублев, парень и бритвы еще не знает, а поглядите, как орудует у отары. Эге! Такой может заткнуть за пояс любого.

И точно. Немножко упрямый, но проворный и любознательный, Николай Рублев уже через год стал одним из самых надежных его помощников. Чабанские премудрости схватывал прямо-таки на лету. Помнится, едва ли не на второй день после прихода Николая в бригаду Иван Ефимович открыл баз и, выждав, пока из него выйдет на волю отара, сказал Николаю:

— Вот если б я вдруг уехал на центральную усадьбу совхоза, куда бы ты сегодня погнал овец? В какую сторону?

Молодой чабан внимательно посмотрел вокруг и, не колеблясь, ответил:

— На запад.

И, как заправский чабан, пояснил:

— Ветер-то нынче вон откуда. Да и крепчать начинает.

В то утро и в самом деле овец надо было гнать на пастьбу только на запад. Ночью ветер изменил направление, подул с запада, и на восток, как вчера, идти с отарой было уже нельзя. На Черных землях ветер в любую минуту может смениться бураном, и тогда, как ни бейся, против ветра назад к кошаре овец не вернешь.

А вскоре помощник просто подивил Ивана Ефимовича. Случилось, что Тимашков приболел, забрали его в больницу, и обязанности старшего чабана на время перешли к Николаю Рублеву. А тут вдруг приморозило, и пастбище покрыл такой гололед, что чабаны были вынуждены перевести овец на стойловое содержание. Тому,

у кого в добром запасе имелось сено, это не страшно, но в чабанскую бригаду Тимашкова сена еще не завезли. «Пропали мои овцы»,— думал Иван Ефимович на больничной койке. И напрасно. Когда он вернулся на Черные земли, то увидел что все там идет своим чередом — от бескормицы не погибла ни одна овца. Николай вышел из тяжелого положения. По скованным льдом травам он пустил в воловьей упряжке сенокосные грабли — и под их зубьями обрушилась ледяная корка, обнаружилось столько открытого корма, что для отары не потребовалось никакой подкормки.

— Нет,— говорил старый чабан,— доверять наши отары надо и молодым. «Молодо-зелено» — попрекать этим нынче уже нельзя. Она, молодежь, нынче пошла иная, совсем иная...

* * *

Далеко Черные земли. Чтобы дойти чабану со своего пастбищного участка, надо одолеть сотни километров. Одолеть не на машине, а пешком, шагая следом за овечьей отарой. Да и уходить нужно не на неделю, а на всю зиму. Ежегодно в разлуке с родным домом, с родной семьей — почти семь месяцев. Пожалуй, и не заметишь, как постареет жена, когда вырастут дети.

И все-таки чабаны не перестают любить Черные земли. Каждую осень они ждут не дождутся дня, когда им будет разрешено выйти с отарой на большую скотопрогонную трассу. На Черных землях — простор и приволье. А оттого что рядом Каспий со своими постоянными теплыми морянами, снега здесь почти не бывает. Не бывает и сильных морозов. Даже в январские и февральские дни порою стоит по-весеннему теплая погода.

На Черных землях — почти всегда круглогодичный подножный корм. На вольном воздухе можно держать отары всю зиму, всю зиму пасти овец на вечно сочных, вечно вкусных, необыкновенно питательных травах. За черноземельскую зиму шерсть отрастает на мериносах богатейшая. Развернешь ее пальцами — и не налюбуешься ее чистотой, длиной, густотой, ее дремучей золоторунной глазурью.

Всем сердцем полюбил Черные земли и Николай Рублев. Еще спеют на совхозных баштанах арбузы, еще шумит вокруг зеленой листвой недозрелая кукуруза, а

он уже отправляется со своей отарой за восточный горизонт.

Идет медленно, все время попасом, и, взглянув на него со стороны, невольно подумаешь: не спешит. Но это не так. Если б можно было гнать овец полным шагом, без попаса и частого отдыха, Николай шел бы на Черные земли и днем и ночью. Ведь с приходом на зимние пастбища у чабанов наступает пора самых важных и самых ответственных дел. Нужно не только хорошо подготовиться к предстоящей зимовке, но и своевременно, по всем правилам передовой зоотехнической науки, провести искусственное осеменение овец.

Николай Рублев все это знает отлично. Как можно быстрее прийти на Черные земли — только тогда можно иметь виды на верный «урожай».

Овец Рублев не торопит, но сам торопится, сам всей душой уже там, на Черных землях.

И, может, оттого, когда в этой далекой степной стороне еще привольно гуляют сайгаки, а перелетные птицы без всякого страха расхаживают в двадцати метрах от дорог — кто их тут в это время вспугнет! — может, именно оттого старший чабан совхоза «Россия» Николай Рублев уже на месте, уже на своей черноземельской стоянке.


По Сибири

ПОКОРИСЬ, ЕНИСЕЙ!

Енисей! Могуч и стремителен поток этой великой сибирской реки. Дух захватывает, когда смотришь с берегового утеса на ее величавое половодье.

В свое лоно Енисей собирает воды сотен рек, стремящихся к нему с востока и запада. И многие из них сами великие реки. Кто не слышал о знаменитых трех Тунгусках: Нижней, Подкаменной и Верхней, больше известной под звучным именем Ангары. Все они — дочери Енисея.

В народе Енисей называют богатырем. Неизмеримы силы реки. Это такая громадная кладовая энергии, что ей и приблизительно нет равной на всем земном шаре.

Но не знал Енисей, куда девать свои силы. Не знал до сегодняшних дней. Вспомним, какие слова прозвучали о нем с исторической трибуны XXII партийного съезда. На Енисее намечено построить целый каскад невиданной мощности гидроэлектростанций. Свою энергию река целиком отдаст на службу советскому человеку.

Красноярская ГЭС — первенец энергокаскада. Ее мощность будет исчисляться многими миллионами киловатт. В мире пока нет более крупной электростанции. Ее нельзя сравнить ни с волжскими гигантами, ни с Братской ГЭС. А Гренд-Кули — крупнейшая электростанция США — покажется рядом с ней пигмеем.

И удивляться здесь нечему. Великий Енисей, и все, что связано с ним, также должно быть великим. Тем более в наши дни, когда решительно все стало под стать свершениям советского человека.

В своей книге путевых очерков «Из Сибири» Антон

Павлович Чехов писал: «На Енисее... жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась... Какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега». Пророческие слова! Куда ни взгляни сейчас с Дивных гор, всюду сияют огни великой стройки. А труд, который они освещают, иначе не назовешь, как молодеческой удалью. Это героический труд.

* * *

Красноярская ГЭС воздвигается в нескольких десятках километров от краевого центра, вверх по течению Енисея, на так называемом Шумихинском сужении. Туда регулярно ходят автобусы, а если вам удастся сесть у окна, вы сразу забудете обо всем. Забудете потому, что залюбуетесь пролетающими мимо местами. Серебристая лента реки причудливо вьется меж высоких лиловых гранитных утесов. Корабельные сосны и кедры подбегают к скалистым обрывам почти вплотную — еще шаг, и бездна. Ближние — в яркой зелени, дальние — в нежнейшей и призрачной синеве. Сам Енисей кажется бездонным: в его глянцевитую гладь словно засмотрелась вся Сибирь — столько там сопок и лазурного неба.

Дорога не уходит далеко от реки; она упрямо жмется к берегам, как бы страшась углубиться в лесные дебри. А там и в самом деле страшно: деревья стоят ствол к стволу, то круто взбегая куда-то вверх, то вдруг осыпаясь по самые кроны в медвежий крутояр, увлекая за собой плиты красного камня. Это — тайга, и ей, как говорят здесь, нет ни начала, ни края, и через нее не только не пройдет человек, но не пролетит и птица.

Уже на полпути к ГЭС становится ясно, что с дороги, по которой едет наш автобус, все и начиналось. И люди, прокладывая дорогу в этих местах, видно, отлично понимали свою задачу. Не понимая этого, вряд ли можно сделать такую дорогу вообще — таким невероятным кажется сидеть в огромном автобусе среди дремучего таежного бурелома, отвесных утесов гор и головокружительных обрывов в двух шагах от колес.

Но вот и Дивногорск. Впрочем, на карте этот город не ищите: там его нет. Он вырос на берегу Енисея с началом строительства ГЭС. Тот, кто придумал ему такое имя, был не только романтиком, но прозерцателем.

Диву даешься, какой это уже большой и красивый город. Окаймленный чудесным сосновым бором, он напоминает курорт. Амфитеатр административных зданий и уютных коттеджей сбегает с вершины сопки до самого Енисея. Обширный цветник как арена. Город гидростроителей, хоть и выглядит все же очень молодо, уже встал в строй лучших городов нашей Сибири.

В самом Дивногорске тихо. О том, что рядом идет великая стройка, говорит лишь красочно оформленная Доска почета с портретами лучших людей этой стройки да большое панно с изображением будущей ГЭС. До Шумихи отсюда пять километров.

Шумиха... Я уже знаю, почему так называется это место на Енисее. Высокие гранитные берега там сдавливают реку, точно исполинским ремнем, и возмущенный водный поток бьется в шумливых водоворотах почти круглый год. Грозное место. Когда доходят до него баржи и пароходы, у енисейских речников нервы натягиваются, как струны.

Сотни лет сибиряки проклинали это место, а вот сейчас оно стало их сердцу, по-особому мило и дорого. Такого удобного створа для возведения плотины электростанции здесь нигде не найти. Правда, ее придется поднять на небывалую высоту, зато и небывалой мощности заработают под ней агрегаты ГЭС.

Старое название за Шумихой так и осталось. Зачем изменять его, если там поднялся новый, еще больший шум — шум грандиозной стройки.

Охватить взглядом всю панораму этой стройки можно лишь с большой высоты, и я наконец взбираюсь на вершину берегового утеса. Назад не оглядываюсь до последней минуты: не хочу. Хочу внезапности — так лучше запоминается впечатление об увиденном. А какое это впечатление — я уже чувствовал, знал.

И чувствовал, и знал, и все же, когда оглянулся, был просто ошеломлен тем, что вдруг увидел там, внизу.

Ты ли это, непокорный, ничем не удержимый богатырский Енисей? Все русло как на ладони. Колоссальный квадрат обнаженного скалистого дна. Вода далеко, за высоким земляным валом, а в самом русле — неоглядный муравейник. Сотни экскаваторов, бульдозеров, кранов, тракторов и самосвалов. И все в движении, все в грохоте, содрагающем даже мой утес.

Еще в Дивногорске мне расказывали, что на камне, зарытом на берегу при закладке Красноярской ГЭС, было начертано: «Покорись, Енисей!» Надо бы достать этот камень, чтобы написать на нем уже совсем другие слова: «Мы сильнее тебя, Енисей!»

Нет, просто непостижимым разуму кажется отвоевать, или, как здесь говорят, «оттяпать» подобный котлован у такой могучей реки. Какая великая потребовалась для этого сила, смелость, мужество людей!

Скоро Енисей перекроют совсем и навечно зажмут в железобетон водосливной плотины. Плотина поднимется над рекой на сто тридцать метров, значительно выше его неприступных береговых скал. Каким бы ни был могучим енисейский поток, он будет вынужден прекратить свой стремительный бег. Выход у богатырской реки найдется только один: затопить берега и разлиться вокруг неоглядным морем.

Пока неизвестно, чьим именем будет названа Красноярская ГЭС. Но я знаю, что здешние скульпторы уже ищут гранитную глыбу, чтобы высечь на ней облик Ленина. В этих местах Енисей овеян именем Ленина с давних пор. Великий вождь когда-то жил на его берегах. Он тут находился в ссылке и, как известно, потом с особой любовью вспоминал об этой могучей реке.

* * *

Гидростроителей — целая армия, и среди них не найдешь ни одного человека, чья судьба чем-то отличалась от других судеб. Она у них одинакова. Каждый приехал сюда добровольно, каждый покинул родные края только потому, что душа загорелась жаждой трудового подвига. На великую стройку коммунизма все они прилетели на собственных крыльях души.

И откуда только ни прилетели: с Волги и Дона, из Москвы, Закавказья и белорусских лесов. Рядом с русским трудится украинец, с украинцем — латыш, с латышом — казах, с казахом — грузин. Одни пожилые, уже видевшие виды, другие — еще безусые, только что расставшиеся со школьной партой.

Своих земляков здесь может встретить кто угодно, и я ничуть не удивился, когда в котловане почти лицом к лицу столкнулся — с кем бы вы думали? — с Андреем

Ефимовичем Бочкиным. С тем самым, который строил наш Невинномысский канал с его Свистухинской и Сенгилеевской ГЭС.

Собственно говоря, эта встреча была вполне закономерной. И представить было нельзя, что Андрей Ефимович сейчас может быть в другом месте. Сколько я знаю его, он всегда там, где свершается беспримерный трудовой подвиг. Грандиозная стройка — это его стихия. С Невинномысского канала он уехал строить Каховскую гидроцентраль, оттуда—Иркутскую ГЭС, с Иркутской—сюда на Енисей, уже при Золотой Звезде Героя Социалистического Труда.

Андрей Ефимович — начальник строительства ГЭС.

Правда, он уже не такой молодой и бравый, каким запомнился мне на Ставрополье. Постарел, поседел — годы взяли свое. Но он по-прежнему полон энергии и доброго духа.

С Сибирью Андрей Ефимович уже сроднился; сейчас он и не мыслит скоро расстаться с нею: ведь впереди еще столько дел! Да и после того как Красноярская ГЭС вступит в строй действующих, он, конечно, не покинет берега Енисея. На очереди Саянская, Усть-Илимская, Богучанская и Енисейская электростанции — такие же великие стройки; и разве он позволит себе, чтоб не участвовать в этих стройках. Не такая у него натура.

В Сибири сейчас все его сердце, но это не значит, что он позабыл Ставрополье. Надо было видеть, с каким взволнованным интересом он расспрашивал меня о родном крае.

Я смотрел на Бочкина и думал: «Есть же на свете такие чудесные люди! Вот он уже поседел, а по-прежнему не может жить вполнакала. Он по-прежнему яркий, как факел, будто его творческое горение и душевные силы неисчерпаемы вообще. Такую бы жизнь, и такую бы огненную биографию!

* * *

О своем новом детище — Красноярской ГЭС — начальник строительства Андрей Ефимович Бочкин рассказывает так, как лишь говорят о самом любимом и сокровенном. Мир еще не видел не только такой мощной, но и красивой гидроэлектростанции. Белая, как лебедь, плотина словно повиснет в воздухе — настолько

оригинальна ее конструкция. Шлюза, как такового, не будет, его заменит наклонный судоподъемник — истинное чудо новой советской гидростроительной техники. Самого здания электростанции не увидишь: все ее агрегаты будут упрятаны в теле плотины, но то водохранилище, которое образует этот первенец голубого каскада на Енисее, увидишь даже с космического корабля — так широко и так раздольно оно раскинет здесь свои берега.

...Я стараюсь не отстать от Андрея Ефимовича ни на шаг: новому человеку заблудиться на стройке — проще простого. Да нельзя и зевать — так и смотри, чтоб на тебя не наехал самосвал или трактор, не посыпались на голову камни из ковша экскаватора. Передыхаю лишь тогда, когда Бочкин останавливается где-нибудь или останавливают его самого.

Ему до всего и едва ли не до каждого есть неотложное дело, и вскоре мне показалось, что он уже забыл про меня. Но вот встречается еще какой-то котлован с крутыми ступенями вниз. Андрей Ефимович наклоняется над ним и громко кричит:

— Эй, ставропольцы! Тут земляк приехал!..

Видно, родные места всегда остаются родными: услышав Бочкина, трое парней в брезентовых спецовках рванулись к лестнице со всех ног. И хоть сразу поняли, что я им совсем незнаком, заулыбались, засияли еще издали.

У одного из них фамилия была — Смелко. Фамилия на Ставрополье редкая, но я слышал ее не раз. В школе села Лад-Балка, что в Красногвардейском районе, работает преподаватель Александра Ивановна Смелко; недавно ей присвоено звание заслуженного учителя. «Не родственница ли?» — спросил я.

— Так это же моя родная сестра,— ответил Николай Смелко.— В Лад-Балке и родились, и выросли.— И нетерпеливо огляделся; где бы найти место потише...

* * *

Но Бочкин устроил мне эту встречу не только для того, чтобы повидаться со своими земляками. Ставропольцев здесь много, а Николай Смелко — один. На строительстве ГЭС это лучший из лучших бригадиров

комплексных бригад. Слава о его бригаде — самая крылатая слава на Шумихе.

И здесь уже привыкли к тому, что там, где не по силам другим, по силе окажется Николаю Смелко. Его бригада не подведет ни при каких обстоятельствах. Если это надо, она не уйдет с работы от зари до зари. И какие бы ни встретились в этот момент ей трудности, все равно одолеет их с песней.

Есть в каждом деле понятия, которые определяют крайнюю степень напряжения и опасности. Это случается всюду, но у гидростроителей, пожалуй, чаще всего. Ведь они, как всегда, имеют дело с водой, с ее непокорным, иной раз просто взбесившимся потоком.

Таким моментам бригада Николая Смелко, наверное, позабыла счет. Ее поднимали по тревоге уже десятки раз.

Вот недавно перед самым концом смены по котловану пронеслась весть: еще не забетонированные кессоны перемычки — в опасности! Их угрожает затопить вдруг взбурлившаяся подо льдом енисейская вода. Если не принять срочных мер...

А эти меры были только одни: кидаться с топорами, лопатами и отбойными молотками по пояс в воду, и не на какую-нибудь минуту, а на долгое время, может быть, на целые сутки. Кессоны можно было спасти лишь при отчаянном напряжении сил и нервов.

Еще летело по телефонным проводам: «Как быть, что предпринять?» — а бригада Николая Смелко уже была там, на кессонах. То, что ей предстояло сделать, нельзя было назвать работой: это скорее всего походило на бой, на рукопашную схватку. Чтобы оттеснить воду от прорванных перемычек, требовалось проявить подлинное геройство: кто кого — или люди одолеют яростно наседающий Енисей, или Енисей заставит их, обессиленных, откатиться назад.

Без малого сутки шло это ожесточенное единоборство со стихией. Позабыто было все: сон, пища, усталость, а то, что уже давно все промокли до нитки, вообще ничего не значило. Без малого сутки до той минуты, когда стало ясно, что угроза непоправимой беды уже позади, что рядом победа.

Бочкин разрешил им хорошо отдохнуть, но черта с два — на второй день они все были на работе.

* * *

На стройку Красноярской ГЭС Николай Смелко попал из армии. Отбыв срок действительной службы, собрался было ехать домой, в свою родную Лад-Балку, да вдруг письмо из Сибири: «Приезжайте, воины, к нам, на Енисей, в вас такая нужда у нас! Вместе будем строить самую крупную в мире ГЭС».

Так дальнейшая жизненная дорога оказалась совсем другой. Овеянные романтикой трудовых подвигов края потянули к себе неудержимо, и не прошло недели, как Николай Смелко вместо боевого автомата уже держал в руках пневматический молоток.

Любознательного, расторопного парня, с горячей хваткой в труде, на стройке приметили сразу. То, что он еще совсем молод, в счет не пошло, и среди бригадиров строительных бригад появилось новое имя. Кто он, откуда — здесь еще не знали, но уже знали, что Николай Смелко парень что надо: в его бригаду не попадешь, если ты лихой труд и смелость не почитаешь выше всех достоинств.

А с виду Николай и скромен, и тих, мало чем отличается от других: невысок, худощав, в движениях нетороплив и спокоен. О его огневой натуре и твердой воле ничего не говорят даже глаза — они смотрят по-юношески чисто и ясно. Золотистая искорка вспыхнула в них лишь тогда, когда я спросил: по душе ли пришлась ему Сибирь.

Да, Николаю Смелко она пришлась по душе, и, если сказать откровенно, он уже горячо полюбил эти места. Они суровы, но в них есть своя прелесть. И дело не только в неповторимой красоте окрестных пейзажей с горами, буйной рекой и чарующей, вечно зеленой тайгой; в Сибири как-то по-особому приятен и радостен труд. Ему волей-неволей отдаешься всем сердцем; это заставляет делать само сознание того, где ты находишься. В Сибири нет малого, здесь все только большое и все только для светлого будущего советского человека — для коммунизма.

Помолчав немного, Николай добавляет с улыбкой:

— А если принять во внимание, что мой сын Сашка, недавно доставленный из родильного отделения больницы домой, отныне коренной сибиряк, то Сибирь мне теперь стала просто родной.

* * *

Чем дальше люди находятся от родных мест, тем сильнее в них чувство землячества. Ставрополье знает вся страна, знает, как край легендарных боевых и трудовых эпопей; и ясно, что его представители, куда бы ни забросила их судьба, должны быть достойными во всем.

И это уже доказано делом. Сейчас — что, сейчас, кто приедет на стройку Красноярской ГЭС, его встречает благоустроенный город, а тогда, когда здесь появилась первая партия ставропольцев, была одна глухая тайга. Был голый берег скованного льдом Енисея, и все. Брезентовая палатка служила и квартирой, и столовой, и клубом, и мастерской. Вместо печки — пустая бензиновая бочка, вместо постелей — колючий слой хвои, вместо обеденных столов — обмерзлые сосновые пни. Невероятным казалось долго выдержать такую суровую жизнь. И ее выдерживали не все — собирались и уходили. Но среди ставропольцев не было таких. Ставропольцы продолжали терпеливо держаться. До последнего дня, то есть до дня, когда прозвучала команда: «А ну, разбирай койки, матрацы, одеяла, простыни и переселяйся в дома!»

Вот я сижу против Валентины Мягких из совхоза им. К. Маркса, Минераловодского района, и она мне рассказывает:

— Это было в начале 1956 года. Наше назначение — Шумиха, а до этой Шумихи еще нет никакой дороги. Приехали бы в Сибирь немного раньше, добрались бы на речных плотах или буксирах, но к тому времени Енисей уже стал. Как же быть? Не возвращаться же по этой причине домой, и решили: пойдем на Шумиху по льду. И представьте — пошли, хотя уже знали, что Енисей почти в сплошных полыньях и торосах. Один неосторожный шаг — и поминай как звали...

А тут, как на грех, пурга. Не стало видно вытянутой руки. Того и гляди, растеряем друг друга в сугробах. Сумасшедшими нас потом обозвали на Шумихе: на что решились?!

Вот какой сюда приехал из нашего края народ! Им оказалось все нипочем. Хоть и южане, хоть и рожденные под теплым кавказским солнцем, они выдержали сибирские невзгоды, как богатыри.

* * *

Видно, этих людей отбирала сама жизнь — ведь и сейчас им все нипочем. А ведь некоторых испугали здешние морозы и хиусы,[1] и нелегкий труд, а ставропольцы и не подумали о своих чемоданах. Все они здесь, как и прежде, и если заходит меж ними речь о дороге, то о той дороге, которая идет вверх, в глубь гор. После завершения стройки Красноярской ГЭС там начнется новая великая стройка — сооружение Саянской ГЭС; надо и там своими руками замуровать в берег камень с символической надписью: «Покорись, Енисей!»

Но это потом: еще далеко не все претворено в жизнь на Шумихе. До огней Красноярской ГЭС времени еще немало, а с ним — и труда. И твердо, непоколебимо, спокойно продолжают стоять на своих постах наши славные гидростроители.

— Катя, где ты?— кричит куда-то наверх, в причудливое сплетение металлических блоков, Валентина Мягких.— Городянская, слышишь?

Катя Городянская, может, и слышит, но ей, видно, сейчас нельзя оторваться от своего дела. Она здесь работает сварщицей: вспышки ослепительного электропламени взлетают возле нее одна за другой. Встретиться с ней удается лишь после гулких ударов о рельс, оповестивших строителей о начале обеденного перерыва.

Родом Катя из села Куршавы, что в Курсавском районе. На стройку Красноярской ГЭС приехала чуть позже других, но, так же как и другие, по комсомольской путевке. В Сибирь увлекла ее пылкая натура: захотелось большого и осмысленного труда, ну и немного романтики. Нет, в выборе жизненной дороги она не ошиблась: ей здесь нравится, свою работу она полюбила. Катя Городянская вполне довольна своей судьбой.

Спрашиваю: «А о своей Куршаве не скучаете?»

— Может быть, и скучала, если бы находила для этого свободное время,— отвечает Катя смеясь.— Я ж ведь еще и студентка...

Но для меня это уже не новость. То же самое я услышал и от Валентины Мягких, и от Николая Смелко. Скучать им и в самом деле некогда, потому, что они здесь не только гидростроители, но и студенты. Днем

---

[1] Ветры сибирские.

они на стройке, а вечером — в стенах Дивногорского индустриального техникума. Смелко, так тот уже успел перейти на пятый курс,— так серьезно он взялся за учебу.

Своего земляка, то есть меня, передавали здесь из рук в руки, как по эстафете, и экскаваторщика Ивана Белозерова я ищу в котловане уже не с Валей Мягких, а с самой Городянской. Пока плутаем с ней меж строений, людей и машин, она спешит рассказать об этом экскаваторщике все, что о нем знает. Красноярская ГЭС у Белозерова не первая стройка — он сооружал и Невинномысский канал, и Каховский гидроузел, и Иркутскую ГЭС. Короче говоря, ветеран. Редко кто может с ним сравниться по опыту, по показателям в работе, да, пожалуй, и любви к своему делу.

Я ожидаю встречи с богатырем, но передо мной предстает почти тщедушный парень в по-мальчишечьи сбитом на затылок, видавшем виды треухе. Просто не верится, что он тут хозяин, на этой огромной могучей машине, но это так. Увесистый ковш экскаватора вгрызается своими сильными зубьями в землю при каждом движении его рук.

— Почему не становитесь — ведь обеденный перерыв?

— Знаю,— спокойно отвечает Белозеров. И раздумчиво добавляет, спрыгивая из кабины к нам на земную насыпь:

— Экскаватор остановить не задача, а вот время, его не остановишь...

* * *

Я прожил на ныне знаменитой Шумихе недолго, всего лишь две недели, но, когда пришла пора уезжать, остро ощутил чувство грусти. Мне было уже жаль расставаться со здешними людьми — такими они показались все душевно чистыми и хорошими. Наверное, навсегда у меня останутся в памяти их образы и их настежь открытые гордые и мужественные сердца.

Есть в Сибири красивая поговорка: «Человек без кипучей работы что кедр без корней». Решимся перефразировать эту поговорку на свой земляческий лад: «Ставрополец без кипучей работы что колос под суховеем». Лишь в трудовом кипении они находят смысл жизни, свое настоящее счастье.

СЫНОВНИЙ ДОЛГ

— Слово предоставляется товарищу...

Взрыв аплодисментов не дал расслышать фамилию. Но по тому, как встретили его на трибуне участники зонального совещания работников сельского хозяйства Сибири, сразу можно было понять, что он здесь по-особому уважаем. Его выступления ждали, ему обрадовались все.

Кто же он такой? Блеснувшая на борту пиджака Золотая Звезда Героя Социалистического Труда объяснить всего не могла. Ничего не сказал и его внешний вид: люди здесь были одеты почти одинаково — что министры, что рядовые колхозники. Сомнения не оставалось лишь в одном, что он коренной сибиряк. Плечи раскрылены, грудь словно распахнута настежь, брови нахмурены, а в глазах золотистые искорки добродушия и привета.

— Еще три года назад мы поставили крест на этой, так называемой «классической», системе земледелия,— заговорил он.— Сама жизнь нам подсказала, что использовать свои поля подобным способом больше нельзя! Нельзя потому...

Еще три года назад! И где — в Ужуре, в одном из глубинных районов Красноярского края! За это действительно стоило встретить оратора таким громом аплодисментов, хоть среди всех председателей колхозов, присутствующих на этом совещании, он был, пожалуй, самым молодым.

* * *

Молод Петр Григорьевич, да давно не зелен. Жизнь сложилась так, что и в тридцать пять лет не зазорно оглянуться назад, на свою пройденную дорогу — есть что вспомнить. Многое вспомнить, но не обо всем рассказывать спокойно. И в тридцать пять лет в иных случаях трудно удержать слезу.

Особенно не забывалось то, что однажды произошло в родном доме. Чем дальше отходили назад годы — годы детства, тем чаще и чаще припоминалось оно.

Началось это с записки. Ее подсунули ночью под дверь. Ничего не подозревая, мать подняла ее с пола и протянула Пете:

— На прочти, грамотей!

Но «грамотей», хоть и ходил еще под стол пешком, сразу сообразил, что читать эту записку вслух не следует. «Эй ты, голодранец!— шло вкривь и вкось из-под химического карандаша по обрывку желтой оберточной бумаги.— Если ты завтра не прекратишь организовывать в нашем селе свой колхоз, знай — каюк тебе. Сам изойдешь кровью, в крови захлебнется и твоя семья...»

Над домом Чалкиных нависла большая беда — это было яснее ясного. Но отец не испугался кулацкой угрозы. Он сказал:

— Еще посмотрим, кому будет каюк!

И, как ни в чем не бывало, опять ушел в сельсовет, чтобы вернуться оттуда лишь на утренней зорьке.

Выстрел из обреза в окно, как помнилось Пете, прогремел уже на второй день после этой злосчастной записки. Кулачье шутить не собиралось. Оно свело все же счеты с упрямым и гордым, бесстрашным и волевым коммунистом Григорием Чалкиным. Свело, презренное, не понимая, что уже ничем — ни угрозами, ни самой кровью — расцвету общественного труда на селе ему не помешать.

Утрата была тяжкой. Пережить это несчастье было мучительно больно. Но время есть время, и понемногу все улеглось.

* * *

А борьба на селе за лучшую жизнь и теперь продолжается. Хоть и бескровная, но упорная и горячая, с живой, волнующей страстью. Только почему же он, Петр Чалкин, коммунист, как бы в сторонке от этой борьбы, вроде отсиживается? Он своими глазами видел разбрызганную по полу кровь отца. Отец бы и теперь шел впереди, а он?..

И вот пришло решение, твердое и бесповоротное. Поэтому порог райкома партии Петр Григорьевич Чалкин, переступил без всяких тревог и волнений.

— Что на трудное дело идешь — это знаешь?— спросили там, когда прочли его заявление.

— Знаю,— ответил Петр Григорьевич.— Потому-то и иду, что оно трудное.

— Добро! И все же туда, куда ты просишься, ехать не советуем. Человек ты еще молодой, да и без должно-

го опыта, а колхоз села Кулун на весьма не завидном счету. Лучше направим тебя...

— Нет!— положил на стол цепко сжатую в кулак крупную руку Петр Григорьевич.— Только в Кулун, в колхоз «Память Ленина» — и больше никуда!

В райкоме партии не слишком любили горячих. Вспыхнет и тут же угаснет при первых же трудностях. Однако горячность Чалкина в счет не пошла. Здесь уже знали его. Знали и понимали. По наследству передается не только характер, но и огонь отцовской души. Рано или поздно, но этот коренастый и плотный парень, с твердым и смелым взглядом широко открытых глаз, все равно должен был прийти к ним с таким вот заявлением. С таким вот решением. И если придет, то его уже не поколебать ни доводом, ни советом.

С той минуты люди ждали от Чалкина не возвышенных фраз, а конкретного дела. В райкоме партии не схитрили, там открыли ему всю правду: в колхозе «Память Ленина» и в самом деле пока радоваться было нечему. Уже при первом ознакомлении с хозяйством можно было схватиться за голову. Предшественникам Петра Чалкина здесь был потерян счет, и эта председательская чехарда довела кулунскую артель едва ли не до развала. Из рук вон плохо обстояло дело и с организацией труда, и с трудовой дисциплиной. Животноводство пребывало в крайне запущенном состоянии, а об урожайности и говорить не стоило — урожаи здесь были настолько низки, что они нередко не оправдывали даже затрат на семена и обработку земли.

Словом, осматриваться да приглядываться Петру Григорьевичу на новом месте не пришлось. Для этого просто не оказалось времени. Неотложные, доведенные почти до накала, заботы захватили его. С первого же дня все надо было решать всерьез, с полной ответственностью не только перед партией и колхозниками, но и перед собственной совестью.

Дни никогда не были такими короткими, а ночи, наоборот,— такими длинными. Сон не приходил порой до рассвета: столько возникало в голове и прошеных, и непрошеных дум. К одной думе требовалось возвращаться опять и опять. Земля названа в народе матерью-кормилицей, на нее у крестьянина, как всегда, все упования, все надежды, а вот у кулунских колхозников она

только в тягость. Что ни год, то от нее здесь одни убытки. А ведь эта земля — как земля, пусть не сплошь черноземная, но далеко не такая, чтобы не верить в нее. В чем же дело? Почему она в колхозе «Память Ленина» так скупа? Оскудела — так разве это возможно в здешних местах, где еще многими не забыта первая борозда по целине?

Нет тут было что-то не то. Без серьезной причины хлебороб не охладеет к земле. Чувство любви к ней у него в крови. Тем более сейчас, в наши дни, когда она не чужая, не помещичья и не кулацкая, а своя — своя от горизонта до горизонта.

Да и отошло то время, когда над этой землей надо было надрываться. Проливать семь потов нынче не приходилось никому. На вооружении хлебороба могучая техника. Куда ни оглянись — добрая сотня лошадиных сил. На тракторной тяге все: и плуг, и борона, и сеялка, и комбайн; в грохоте моторов поле круглыми сутками, от одной утренней зорьки до другой.

И казалось, только радоваться надо колхозникам наступающей новой весне — скорей бы в поле, к своей вспаханной и перепаханной земле! Но вот на дворе апрель — месяц лучших надежд, а Петр Григорьевич не чувствует, чтобы в кулунском колхозе началось взволнованное ожидание этой извечно благословенной поры. Жизнь здесь как шла, так и идет своим чередом. В коридорах правления от табачного дыма темно, а еще никто не ворвался в кабинет к своему председателю: почему медлим, ведь снега уже почти не осталось?..

А медлить и в самом деле было больше нельзя. Пусть колхозники ожидают распоряжений, но бригадирам и агрономам — разве нужны им они, эти распоряжения? Тем более агрономам. Куда же они запропастились? Гейм, например? Старший агроном колхоза Эдуард Андреевич Гейм.

И вот он.

— Звали?

— Да, звал. Проходите. Чего остановились на пороге?

И это объяснить было трудно: Гейм зашел в кабинет с явной неохотой. Устало присел на диван, и, ничего не сказав, надолго уперся своим хмурым и неприветливым взглядом в угол. Будто чужой, совсем посторонний.

Не объяснить было даже этого.

— Ответьте, ведь сами знаете, что я человек здесь новый. Что за причина?

— Отвечу. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы,— сказал Эдуард Андреевич Гейм после того, как выслушал Чалкина.— Но боюсь, что и от вас, Петр Григорьевич, придется услышать в свой адрес то же самое, что и от прежних председателей. Ведь лишь за один намек гнали из этого кабинета чуть не взашей.

— А нельзя ли яснее?

Эдуард Андреевич горестно усмехнулся. Что же, если на то пошло, он скажет не только яснее, но и вообще откровенно, начистоту. Прежде всего, обезличенный труд на колхозной земле — куда это годится? Обезличка на обезличке. Вспахал Иван Иванович участок — и на том точка, для него на этом участке хоть трава не расти. Посеял Петр Петрович и также уехал отсюда на все лето. Не задержалась здесь долго со своей тяпкой и Татьяна Кузьминична. И в результате на вопросы: почему так плохо поле распахано, почему на нем столько огрехов, почему оно так забито сорняком — отвечать некому. Совсем некому.

Но это еще не главное. Руки опустились у Эдуарда Андреевича от другого. Били по ним уже за один взгляд на существующую систему землепользования. А разве неправильно, что от этой системы уже надо отказаться, и отказаться самым решительным образом. Узаконили чистые пары и посев многолетних культурных трав, и что от этого получается: земли много, а сеять хлеб, по существу, негде. Куда ни кинь — клин: то чистый пар, то люцерна, то клевер.

По вине своей молодости и неопытности Петру Григорьевичу было трудно определить, прав старший агроном колхоза или не прав, но теперь он начинал понимать, почему у кулунцев земля не пользуется любовью. Им просто любить ее не за что. Она не оправдывает их надежд, не оправдывает даже тогда, когда выпадает урожайное лето. И все лишь потому, что на шее каждого трудового гектара едва ли не дюжина ничего не производящих гектаров, гектаров-иждивенцев, если не прямо-таки паразитов. Полторы тысячи ежегодно гуляет под чистыми парами, едва ли не столько же их находится под культурными травами, а на земле, отведенной под

сенокосные и пастбищные угодья, такое раздолье, что его не пересечешь плугом и за целый день.

— Но есть ли выход?

— Есть, Петр Григорьевич,— твердо сказал обрадованный вдруг агроном Гейм.— Во-первых, ко всяким чертям эти пары!

— Так это же наукой доказано: пары — ключ к урожаю.

— Ржавый и кривой этот ключ. Он придуман, видно, для того, чтобы поспокойнее жить. Расчет не на себя, не на свои руки, а на щедрость природы. А сколько сгорает у нас ежегодно навоза? Вывези его в поле — вот он и пар! Да еще какой пар! За десять лет почва не наберет без посева такой урожайной силы, как после навоза, этого чудеснейшего удобрения. Тут же сей что угодно — все даст урожай. Особенно кукуруза, которая, как доказано на опыте, является отличнейшим предшественником пшеницы...

Долгой, очень долгой была эта беседа. Однако Петр Григорьевич не пожалел о затраченном времени на нее. Нет, он не ударил по рукам Эдуарда Андреевича. Наоборот, при расставании встал из-за стола и крепко пожал их, загрубелые от земли руки старого агронома. Жизнь надо благодарить: начинала она сводить его с замечательными людьми.

* * *

Невоплощенные возможности, дремлющие резервы, до этой поры не приведенные в действие, в колхозе «Память Ленина» оказались всюду, во всех отраслях хозяйства, но то, что сулила по-новому использованная земля, было сверх всех надежд и ожиданий. Давно ли отсеялись, а в поле так и тянет, чтобы еще и еще раз полюбоваться той кукурузой, которая так дружно зазеленела на чистых парах. Ставка на нее оправдывалась на глазах. Словно с неба падало неоценимое богатство. Даже тогда, когда загаданная цифра урожая зеленой массы окажется наполовину ниже,— и тогда уже не переживать колхозным животноводам извечность бескормицы. И в этом случае для скота корма хватит до нового лета.

Не стоило жалеть и о посевах многолетних трав. На их месте сейчас росла сахарная свекла. И тут тоже дело клонилось к урожаю. А свекла — не сено.

Надо ли было теперь раздумывать над тем, что делать дальше! Что бы там ни говорили, а с того курса, который взят им по использованию своей земли, Петра Григорьевича Чалкина было не сбить.

А уже говорили. Говорили не только в соседних колхозах, но и в самом районном отделе сельского хозяйства. Сперва журили Петра Григорьевича в кабинетах, а потом дело дошло до трибуны. На одном из районных собраний выступило несколько человек: что это, дескать, за самоуправство, как смел Чалкин нарушить давно утвердившийся закон земледелия! Где, мол, у этого товарища голова? Не обошлось даже без угроз с привлечением к ответственности за это «отступничество», за это «глумление» над наукой.

И трудно сказать, чем бы могло для него все кончиться, если бы за своего председателя не встали стеной колхозники. Кто-кто, а они сразу поняли, против чего восстал их Петр Григорьевич. Нашелся бы среди них раньше вот такой смелый и энергичный человек, они давно бы положили конец этой неразумности в использовании своих полей. Неправда, что они охладели к хлеборобству! Земля ими любима по-прежнему, только долой с нее эту мудреность с травопольными севооборотами, долой этот опостылевший шаблон в земледелии, столько лет не дающий выйти в поле с легким сердцем и свободной душой!

* * *

Все произошло так, как того желали и ждали осенью кулунцы: на своей отгульной земле, вернее, на чистых парах, собрали почти полторы тысячи центнеров кукурузы. Чудо совершилось на тех участках, где многолетничали культурные травы. Десять центнеров сена получали здесь с каждого гектара, десять, не больше, а сахарной свеклы собрали по семьсот двадцать. Десять против семисот двадцати — это ли не чудо!

Все складывалось так, как и было задумано, складывалось просто на славу, но чувство тревожного беспокойства оставить Петра Григорьевича Чалкина не спешило. Ведь все-таки это был риск. Где взять уверенность в том, что подобный шаг не скажется пагубно на будущем урожае пшеницы? Не выйдет ли это баш на баш? Что тогда?

— Тогда закопаешь меня живым в землю,— отшучивался Эдуард Андреевич, а по всему было видно, что и он живет не без тревоги. Что ни день, то его голова становилась все белее и белее. Та же ответственность: и перед колхозниками, и перед партией.

Одинакова была ответственность, одинакова была и радость, когда пришлось убедиться, что эти тревоги напрасны. Уже минуло три года, а Петру Григорьевичу еще хорошо помнится утро, когда сияющий агроном Гейм прямо с постели уволок его в степь. Уволок лишь для того, чтобы он сам собственными глазами увидел редчайшее: всюду, где Эдуард Андреевич ни бросал на молодую пшеницу свою фуражку, она не падает на землю, а легко повисает на колосьях. Всюду! Даже на северных скатах, где были не та почва и влага и не то солнце.

Что случилось с кулунской землей, каким образом она вдруг набралась такой мощной, плодородной силы— гадать не надо было. Эдуард Андреевич все же сумел доказать свою правоту. Колхозное поле, на котором бушевало под ветрами пшеничное море, в здешних краях было первым полем, обработанным вопреки давно отжившей свой век травопольной системе.

Словом, фуражка Эдуарда Андреевича тогда не подвела. Она повисла на колосьях пшеницы отнюдь не случайно: такого урожая зерна, какой удалось собрать в том году в колхозе «Память Ленина», пожалуй, еще не знали. Тридцать пять центнеров с каждого гектара! Тридцать пять вместо привычных десяти, в редких случаях— двенадцати. Предшествующая здесь кукуруза не только не помешала благополучно созреть яровой пшенице, но немало поспособствовала и тому, чтобы ее урожай стал таким богатым. Что это именно так, кулунцы могли доказать уже неопровержимо: мощные корневища, перепрев в распаханной с осени почве, дали ей столько же питательных веществ, сколько смогли дать их и пары.

Уже после первого опыта, после первого удара по закоснелой травопольщине стало ясно, где затерялась былая урожайная слава кулунской земли. Она сразу словно помолодела, и случай пожелал, чтобы этой земле вскоре дал оценку Никита Сергеевич Хрущев. Увидев на сельскохозяйственной выставке Красноярского края экспонаты колхоза «Память Ленина», он сказал, что по-

добный урожай зерна, кукурузы и свеклы в Восточной Сибири он встречает впервые. Так и сказал:

— Вижу впервые в жизни!

* * *

Земля не подведет, если ее не подведут сами люди, какой бы она ни была и где бы она ни лежала, даже в Ужуре, затерянном где-то в суровом сибирском крае.

Именно так и понял Петр Григорьевич слова товарища Хрущева, сказанные возле кулунского стенда на выставке. Именно такой был их смысл, и это окончательно уверило, что тот курс, который взят в колхозе на использование земли, совершенно правильный курс. Только таким путем можно достичь того, за что так горячо все время ратуют партия и правительство — беспримерного изобилия в своей стране хлеба, мяса, масла и молока. Достичь полного довольства во всем для советского народа, смелым и гордым шагом входящего в коммунизм.

И что же из того, что колхоз «Память Ленина» — за многие тысячи километров от сердца родной страны, что он совсем невелик, почти неприметная капля в море колхозов страны. Теперь и здесь есть чем порадовать Родину. Уже в прошлом году кулунские колхозники получили от полеводства свыше трехсот тысяч рублей дохода.

Кулунцы не подвели ни землю, ни своего председателя колхоза. Этот коренастый и плотный парень, с твердым и смелым взглядом широко открытых глаз,— как оказался он здесь нужен со своим упрямым характером, со своим, как видно, наследственным даром организатора! Был бы жив его отец, что бы он сказал, увидев, как окреп, как расцвел под руководством Петра Григорьевича Чалкина колхоз «Память Ленина»? Наверняка сказал бы:

— Хвалю! Вот так и надо прожить свою жизнь!..

СОДЕРЖАНИЕ

А
Ч—90 Чумак И.
ПРАПОР. Избранное. Ставрополь, кн. изд., 1963. 256 с.

Художник И. Харсекин.
Худож. редактор Н. Панасюк.
Техн. редактор Т. Стеблянко.
Корректоры Н. Паращенко, З. Кулиш, А. Кузнецова.

Сдано в набор 19.I-63 г. Подписано к печати 11.V-63 г.
Авт. л. 12,3. Уч.-изд. л. 13. Печ. л. 13,12.
Бумага 84x108 1/32. Бум. л. 4. Заказ № 690.
Тираж 30 000 экз. Цена 54 коп. ВГ 32006.

Краевая типография, г. Ставрополь, ул. Артема, 18.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
5	4 снизу	Марина Кандыбина	Марина Любенкова
6	5 снизу	Маринка Кандыбина	Маринка Любенкова
228	17 снизу	чезноземельский вор	черноземельский вор
228	11 снизу	Ивана Ефимовича Тимошкова	Ивана Ефимовича Тимашкова